Михаил БУЛГАКОВ

РОКОВЫЕ ЯЙЦА

1. КУРРИКУЛЮМ ВИТЕ ПРОФЕССОРА ПЕРСИКОВА

16 апреля 1928 года, вечером, профессор зоологии IV государственного университета и директор зооинститута в Москве, Персиков, вошел в свой кабинет, помещающийся в зооинституте, что на улице Герцена. Профессор зажег верхний матовый шар и огляделся.

Начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным в этот злосчастный вечер, равно как первопричиною этой катастрофы следует считать именно профессора Владимира Ипатьевича Персикова.

Ему было ровно 58 лет. Голова замечательная, толкачом, лысая, с пучками желтоватых волос, торчащими по бокам. Лицо гладко выбритое, нижняя губа выпячена вперед. От этого персиковское лицо вечно носило на себе несколько капризный отпечаток. На красном носу старомодные маленькие очки в серебряной оправе, глазки блестящие, небольшие, росту высокого, сутуловат. Говорил скрипучим голосом тонким и квакающим и среди других странностей имел такую: когда говорил что-либо веско и уверенно, указательный палец правой руки превращал в крючок и щурил глазки. А так как он говорил всегда уверенно ибо эрудиция в его области у него была совершенно феноменальная, то крючок очень часто появлялся перед глазами собеседников профессора Персикова. А вне своей области, т.е. зоологии, эмбриологии, анатомии, ботаники и географии, профессор Персиков почти никогда не говорил.

Газет профессор Персиков не читал, в театр не ходил, а жена профессора сбежала от него с тенором оперы Зимина в 1913 году, оставив ему записку такого содержания:

”Невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне твои лягушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них”.

Профессор больше не женился и детей не имел. Был очень вспыльчив, не отходчив, любил чай с морошкой, жил на Пречистенке, в квартире из 5 комнат, одну из которых занимала сухонькая старушка, экономка Марья Степановна, ходившая за профессором как нянька.

В 1919 году у профессора отняли из 5 комнат 3. Тогда он заявил Марье Степановне:

- Если они не прекратят эти безобразия, Марья Степановна, я уеду за границу.

Нет сомнения, что если бы профессор осуществил этот план, ему очень легко удалось бы устроиться при кафедре зоологии в любом университете мира, ибо ученый он был совершенно первоклассный, а в той области, которая так или иначе касается земноводных или голых гадов, и равных себе не имел за исключением профессоров Уильяма Веккля в Кембридже и Джиакомо Бартоломео Беккари в Риме. Читал профессор на 4 языках, кроме русского, а по-французски и немецки говорил как по-русски. Намерения своего относительно заграницы Персиков не выполнил, и 20-й год вышел еще хуже 19-го. Произошли события и притом одно за другим. Большую Никитскую переименовали в улицу Герцена. Затем часы, врезанные в стену дома на углу Герцена и Моховой, остановились на 11 с 1/4 и, наконец, в террариях зоологического института, не вынеся всех пертурбаций знаменитого года, издохли первоначально 8 великолепных экземпляров квакшей, затем 15 обыкновенных жаб и, наконец, исключительнейший экземпляр жабы Суринамской.

Непосредственно вслед за жабами, опустошившими тот первый отряд голых гадов, который по справедливости назван классом гадов бесхвостых, переселился в лучший мир бессменный сторож института старик Влас, не входящий в класс голых гадов. Причина смерти его, впрочем, была та же, что и у бедных гадов, и ее Персиков определил сразу:

- Бескормица!

Ученый был совершенно прав: Власа нужно было кормить мукой, а жаб мучными червями, но поскольку пропала первая, постольку исчезли и

вторые. Персиков оставшиеся 20 экземпляров квакш попробовал перевести на питание тараканами, но и тараканы куда-то провалились, показав свое злостное отношение к военному коммунизму. Таким образом и последние экземпляры пришлось выкинуть в выгребные ямы на дворе института.

Действие смертей и в особенности Суринамской жабы на Персикова не поддается описанию. В смертях он целиком почему-то обвинил тогдашнего наркома просвещения.

Стоя в шапке и калошах в коридоре выстывающего института, Персиков говорил своему ассистенту Иванову, изящнейшему джентльмену с острой белокурой бородкой:

- Ведь за это же его, Петр Степанович, убить мало! Что же они делают? Ведь они ж погубят институт! А? Бесподобный самец, исключительный экземпляр Пипа американа, длиной в 13 сантиметров…

Дальше пошло хуже. По смерти Власа окна в институте промерзли насквозь, так что цветистый лед сидел на внутренней поверхности стекол. Издохли кролики, лисицы, волки, рыбы, и все до единого ужи. Персиков стал молчать целыми днями, потом заболел воспаление легких, но не умер. Когда оправился, приходил два раза в неделю в институт и в круглом зале, где было всегда, почему - то не изменяясь, 5 градусов мороза, независимо от того, сколько на улице, читал в калошах, в шапке с наушниками и в кашне, выдыхая белый пар, 8 слушателям цикл лекций на тему “Пресмыкающиеся жаркого пояса”. Все остальное время Персиков лежал у себя на Пречистенке на диване, в комнате до потолка набитой книгами, под пледом, кашлял и смотрел в пасть огненной печурке, которую золочеными стульями топила Марья Степановна, вспоминал Суринамскую жабу.

Но все на свете кончается. Кончился 20-й и 21-й год, а в 22-м началось какое-то обратное движение. Во-первых: на месте покойного Власа появился Панкрат, еще молодой, но подающий большие надежды зоологический сторож, институт стали топить понемногу. А летом Персиков при помощи Панкрата, на Клязьме поймал 14 штук вульгарных жаб. В террариях вновь закипела жизнь… В 23-ем году Персиков уже читал 8 раз в неделю - 3 в институте и 5 в университете. В 24-ом году 13 раз в неделю и, кроме того на рабфаках, а в 25-м весной, прославился тем, что на экзаменах срезал 76 человек студентов и всех на голых гадах.

- Как вы не знаете чем отличаются голые гады от пресмыкающихся? - Спрашивал Персиков. - Это просто смешно молодой человек. Тазовых почек нет у голых гадов. Они отсутствуют. Тэк-то-с. Стыдитесь. Вы, вероятно, марксист?

- Марксист, - угасая, отвечал зарезанный.

- Так вот, пожалуйста осенью, - вежливо говорил Персиков и бодро кричал Панкрату: - Давай следующего!

Подобно тому, как амфибии оживают после долгой засухи, при первом обильном дожде, ожил профессор Персиков в 1926 году, когда соединенная американо-русская компания выстроила, начав с угла Газетного переулка и Тверской, в центре Москвы, 15 пятнадцатиэтажных домов, а на окраинах 300 рабочих коттеджей, каждый на 8 квартир, раз и навсегда прикончив тот страшный и смешной жилищный кризис, который так терзал москвичей в годы

1919 - 1925.

Вообще это было замечательное лето в жизни Персикова, и порою он с тихим и довольным хихиканьем потирал руки, вспоминая, как он жался с Марьей Степановной в 2 комнатах. Теперь профессор все 5 получил обратно, расширился, расположил две с половиной тысячи книг, чучела, диаграммы, препараты, зажег на столе зеленую лампу в кабинете.

Институт тоже узнать было нельзя: его покрыли кремовою краской, провели по специальному водопроводу воду в комнату гадов, сменили все стекла на зеркальные, прислали 5 новых микроскопов, стеклянные препарационные столы, шары по 2000 ламп с отраженным светом, рефлекторы, шкапы в музей.

Персиков ожил, и весь мир неожиданно узнал об этом, лишь только в декабре 1926 года вышла в свет брошюра:

”Еще к вопросу о размножении бляшконосых или хитонов”. 126 стр. “Известия IV университета”.

А в 1927, осенью, капитальный труд в 350 страниц, переведенный на 6 языков, в том числе и японский:

”Эмбриология пип, чесночниц и лягушек”. Цена 3 руб. Госиздат.

А летом 1928 года произошло то невероятное, ужасное…

2. ЦВЕТНОЙ ЗАВИТОК

Итак, профессор зажег шар и огляделся. Зажег рефлектор на длинном экспериментальном столе, надел белый халат, позвенел каким-то инструментом на столе…

Многие из 30 тысяч механических экипажей, бегавших в 28 году по Москве проскакивали по улице Герцена, шурша по гладким торцам, и через каждую минуту с гулом и скрежетом скатывался с Герцена к Моховой трамвай 16, 22, 48, или 53 маршрута. Отблески разноцветных огней забрасывал в зеркальные стекла кабинета и далеко и высоко был виден рядом с темной и грузной шапкой храма Христа туманный, бледный месячный серп.

Но ни он, ни гул весенней Москвы нисколько не занимали профессора Персикова. Он сидел на винтящемся трехногом табурете и побуревшими от табаку пальцами вертел кремальеру великолепного цейсового микроскопа, в котором был заложен обыкновенный неокрашенный препарат свежих амеб. В тот момент, когда Персиков менял увеличение с 5 на 10 тысяч, дверь приоткрылась, показалась остренькая бородка, кожаный нагрудник и ассистент позвал:

- Владимир Ипатьевич, я установил брыжейку, не хотите ли взглянуть?

Персиков живо сполз с табурета, бросил кремальеру на полдороге и, медленно вертя в руках папиросу, прошел в кабинет ассистента. Там, на стеклянном столе, полузадушенная и обмершая от страха и боли лягушка была распята на пробковом штативе, а ее прозрачные слюдяные внутренности вытянуты из окровавленного живота в микроскоп.

- Очень хорошо - сказал Персиков и припал глазом к окуляру микроскопа.

Очевидно что - то очень интересное можно было рассмотреть в брыжейке лягушки, где как на ладони видные, по рекам сосудов бойко бежали живые кровяные шарики: Персиков забыл о своих амебах и в течении полутора часов по очереди с Ивановым припадал к стеклу микроскопа. При этом оба ученых перебрасывались оживленными, но непонятными простым смертным словами.

Наконец Персиков отвалился от микроскопа заявив:

- Сворачивается кровь, ничего не поделаешь.

Лягушка тяжко шевельнула головой и в ее потухающих глазах были явственны слова: “сволочи вы, вот что…”

Разминая затекшие ноги, Персиков поднялся, вернулся в свой кабинет, зевнул, потер пальцами вечно воспаленные веки и, присев на табурет, заглянул в микроскоп, пальцы он наложил на кремальеру и уже собирался двинуть винт но не двинул. Правым глазом видел Персиков мутноватый белый диск и в нем смутных белых амеб, а посредине диска сидел цветной завиток, похожий на женский локон. Этот завиток и сам Персиков и сотни его учеников видели очень много раз и никто не интересовался им, да и незачем было. Цветной пучок света лишь мешал наблюдению и показывал, что препарат не в фокусе. Поэтому его безжалостно стирали одним поворотом винта, освещая поле ровным белым светом. Длинные пальцы зоолога уже вплотную легли на нарезку винта и вдруг дрогнули и слезли. Причиной этого был правый глаз Персикова, он вдруг насторожился, изумился, налился даже тревогой. Не бездарная посредственность на горе республики сидела у микроскопа. Нет, сидел профессор Персиков!

Вся жизнь, его помыслы сосредоточились в правом глазу. Минут пять в каменном молчании высшее существо наблюдало низшее, мучая и напрягая глаз над стоящим вне фокуса препаратом. Кругом все молчало. Панкрат заснул уже в своей вестибюле и один только раз в отдалении музыкально и нежно прозвенели стекла в шкапах - это Иванов, уходя, запер свой кабинет. За ним простонала входная дверь. Потом уже послышался голос профессора. У кого он спросил - неизвестно.

- Что такое? Ничего не понимаю…

Запоздалый грузовик прошел по улице Герцена, колыхнув старые стены института. Плоская стеклянная чашечка с пинцетами звякнула на столе. Профессор побледнел и занес руку над микроскопом, так, словно мать над дитятей, которому угрожает опасность. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы Персиков двинул винт, о нет, он боялся уже, чтобы какая - нибудь посторонняя сила не вытолкнула из поля зрения того, что он увидел.

Было полное белое утро с золотой полосой, перерезавшей кремовое крыльцо института, когда профессор покинул микроскоп и подошел на онемевших ногах к окну. Он дрожащими пальцами нажал кнопку и черные глухие шторы закрыли утро и в кабинете ожила мудрая ученая ночь. Желтый и вдохновенный Персиков растопырил ноги и заговорил, уставившись в паркет слезящимися глазами:

- Но как же это так? Ведь это же чудовищно!… Это чудовищно, господа, - повторил он, обращаясь к жабам в террарии, но жабы спали и ничего ему не ответили.

Он помолчал, потом подошел к выключателю, поднял шторы, потушил все огни и заглянул в микроскоп. Лицо его стало напряженным, он сдвинул кустоватые желтые брови.

- Угу, угу, - пробурчал он, - пропал. Понимаю. По-о-нимаю, - протянул он сумасшедше и вдохновенно глядя на погасший шар над головой, - это просто.

И он вновь опустил шипящие шторы и вновь зажег шар. Заглянул в микроскоп, радостно и как бы хищно, осклабился.

- Я его поймаю, - торжественно и важно сказал он, поднимая палец кверху - поймаю. Может быть и от солнца.

Опять шторы взвились. Солнце было налицо. Вот оно залило стены института и косяком легло на торцах Герцена. Профессор смотрел в окно, соображая, где будет солнце днем. Он то отходил, то приближался, легонько пританцовывая, и наконец животом лег на подоконник.

Приступил к важной и таинственной работе. Стеклянным колпаком

накрыл микроскоп. На синеватом пламени горелки расплавил кусок сургуча и края колокола припечатал к столу, а на сургучных пятнах оттиснул свой большой палец. Газ потушил, вышел, и дверь кабинета запер на английский замок.

Полусвет был в коридорах института. Профессор добрался до комнаты Панкрата и долго и безуспешно стучал в нее. Наконец, за дверью послышалось урчанье как бы цепного пса, харканье и мычанье, и Панкрат в полосатых подштанниках, с завязками на щиколотках предстал в светлом пятне. Глаза его дико уставились на ученого, он еще легонько подвывал со сна.

- Панкрат, - сказал профессор, глядя на него поверх очков, извини, что я тебя разбудил. Вот что, друг, в мой кабинет завтра утром не ходить. Я там работу оставил, которую сдвигать нельзя. Понял.

- У-у-у, по-по-понял, - ответил Панкрат.

- Хорошо, - молвил зоолог и легонько потыкал Панкрата в ребра, отчего у того на лице получился испуг и некоторая тень осмысленности в глазах. - Кабинет я запер, - продолжал Персиков, - так убирать его не нужно до моего прихода. Понял?

- Слушаю-с, - прохрипел Панкрат.

- Ну вот и прекрасно, ложись спать.

Панкрат повернулся, исчез в двери и тотчас обрушился в постель, а профессор стал одеваться в вестибюле. Он надел серое летнее пальто и мягкую шляпу, затем, вспомнив про картину в микроскопе, уставился на свои калоши, словно видел их впервые. Затем левую надел на левую, хотел надеть правую, но та не полезла.

- Какая чудовищная случайность, что он меня отозвал, - сказал ученый, - иначе я его так бы и не заметил. Но что это сулит?… Ведь это сулит черт знает что такое!..

Профессор усмехнулся, прищурился на калоши и левую снял, а правую надел.

- Боже мой! Ведь даже нельзя представить себе всех последствий… - Профессор с презрением ткнул левую калошу, которая раздражала его, не желая налезать на правую, и пошел к выходу в одной калоше. Тут же он потерял носовой платок и вышел, хлопнув тяжелою дверью. На крыльце он долго искал в карманах спички, хлопая себя по бокам, нашел и тронулся по улице с незажженной папиросой во рту.

Ни одного человека ученый не встретил до самого храма. Там профессор, задрав голову, приковался к золотому шлему. Солнце сладостно лизало его с одной стороны.

- Как же раньше я не видал его, какая случайность?.. Тьфу, дурак - профессор наклонился и задумался, глядя на разно обутые ноги, - гм… как же быть? К Панкрату вернуться? Нет, его не разбудишь. Придется на руках нести. - Он снял калошу и брезгливо понес ее.

На старом автомобиле с Пречистенки выехали трое. Двое пьяных и на коленях у них ярко раскрашенная женщина в шелковых шароварах, по моде 28 года.

- Эх, папаша! - крикнула она низким сиповатым голосом, - что же другую-то калошу пропил!

- Видно, в “Альказаре” набрался старичок, - завыл левый пьяненький, правый высунулся из автомобиля и прокричал:

- Отец, что ночная на Волхонке открыта? Мы туда!

Профессор строго посмотрел на них поверх очков, выронил изо рта папиросу и тотчас забыл о их существовании. На Пречистенском бульваре раздалась солнечная прорезь, а шлем Христа начал пылать. Вышло солнце.

3. ПЕРСИКОВ ПОЙМАЛ

Дело было вот в чем. Когда профессор приблизил свой гениальный глаз к окуляру, он впервые в жизни обратил внимание на то, что в разноцветном

завитке особенно ярко и жирно выделялся один луч. Луч этот был ярко красного цвета и из завитка выпадал, как маленькое острие, ну, скажем, с иголку, что ли.

Просто уж такое несчастье, что на несколько секунд луч этот приковал наметанный взгляд виртуоза.

В нем, в луче, профессор разглядел то, что было тысячу раз значительнее и важнее самого луча, непрочного дитяти, случайно родившегося при движении зеркала и объектива микроскопа. Благодаря тому, что ассистент отозвал профессора, амебы пролежали полтора часа под действием этого луча и получилось вот что: в то время, как в диске вне луча зернистые амебы валялись вяло и беспомощно, в том месте, где пролегал красный заостренный меч, происходили странные явления. В красной полосочке кипела жизнь. Серенькие амебы, выпуская ложноножки, тянулись изо всех сил в красную полосу и в ней (словно волшебным способом) оживали. Какая - то сила вдохнула в них дух жизни. Они лезли стаей и боролись друг с другом за место в луче. В нем шло бешеное, другого слова не подобрать, размножение. Ломая и опрокидывая все законы, известные Персикову как свои пять пальцев, они почковались на его глазах с молниеносной быстротой. Они разваливались на части в луче и каждая из частей в течении 2 секунд становилась новым свежим организмом. Эти организмы в несколько мгновений достигали роста и зрелости лишь затем, чтобы в свою очередь тотчас же дать новое поколение. В красной полосе, а потом и во всем диске стало тесно и началась неизбежная борьба. Вновь рожденные яростно набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди рожденных лежали трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны. Во-первых, они объемом приблизительно в два раза превышали обыкновенных амеб, а, во-вторых, отличались какой-то особенной злостью и резвостью. Движения их были стремительны, их ложноножки гораздо длиннее нормальных, и работали они ими, без преувеличения, как спруты щупальцами.

Во второй вечер профессор, осунувшийся и побледневший, без пищи, взвинчивая себя лишь толстыми самокрутками, изучал новое поколение амеб, а в третий день он перешел к первоисточнику, т.е. к красному лучу.

Газ тихонько шипел в горелке, опять по улице шаркало движение и профессор, отравленный сотой папиросою, полузакрыв глаза, откинулся на

спинку винтового кресла.

- Да, теперь все ясно. Их оживил луч. Это новый, неисследованный никем, никем не обнаруженный луч. Первое, что придется выяснить, это - получается ли он только от электричества или также и от солнца, - пробормотал Персиков самому себе.

И в течении еще одной ночи это выяснилось. В три микроскопа Персиков поймал три луча, от солнца ничего не поймал и выразился так:

- Надо полагать, что в спектре солнца его нет… гм… ну, одним словом, надо полагать, что добыть его можно только от электрического света. - Он любовно поглядел на матовый шар вверху, вдохновенно подумал и пригласил к себе в кабинет Иванова. Он ему все рассказал и показал амеб.

Приват-доцент Иванов был поражен, совершенно раздавлен: как же такая простая вещь, как эта тоненькая стрела, не была замечена раньше, черт возьми! Да кем угодно, и хотя бы им, Ивановым, и действительно, это чудовищно! Вы только посмотрите…

- Вы посмотрите, Владимир Ипатьевич! - говорил Иванов, в ужасе прилипая глазом к окуляру, - что делается?! Они растут на моих глазах… Гляньте, гляньте…

- Я их наблюдаю уже третий день, - вдохновенно ответил Персиков.

Затем произошел между двумя учеными разговор, смысл которого сводился к следующему: приват-доцент Иванов берется соорудить при помощи линз и зеркал камеру, в которой можно будет получить этот луч в увеличенном виде и вне микроскопа. Иванов надеется, даже совершенно уверен, что это чрезвычайно просто. Луч он получит, Владимир Ипатьевич может в этом не сомневаться. Тут произошла маленькая заминка.

- Я, Петр Степанович, когда опубликую работу, напишу, что камеры сооружены вами, - вставил Персиков, чувствуя, что заминочку надо разрешить.

- О, это не важно… Впрочем, конечно…

И заминочка тотчас разрешилась. С этого времени луч поглотил и

Иванова. В то время, как Персиков, худея и истощаясь, просиживал дни и половину ночи за микроскопом, Иванов возился в сверкающем от ламп физическом кабинете, комбинируя линзу и зеркала. Помогал ему механик.

Из Германии после запроса через комиссариат просвещения Персикову прислали три посылки, содержащие в себе зеркала, двояковыпуклые, двояковогнутые и даже какие-то выпукло-вогнутые шлифованные стекла. Кончилось все это тем, что Иванов соорудил камеру и в нее действительно уловил красный луч. И надо отдать справедливость, уловил мастерски: луч вышел кривой, жирный, сантиметра 4 в поперечнике, острый и сильный.

1-го июня камеру установили в кабинете Персикова и он жадно начал опыты с икрой лягушек, освещенной лучом. Опыты эти дали потрясающие результаты. В течение 2-х суток вылупились тысячи головастиков. Но этого мало, в течение одних суток головастики выросли необычайно в лягушек и до того злых и прожорливых, что половина их была тут же перелопана другой половиной. Зато оставшиеся в живых начали вне всяких сроков метать икру и в 2 дня уже без всякого луча вывели новое поколение и при том совершенно бесчисленное. В кабинете ученого началось черт знает что: головастики расползлись из кабинета по всему институту, в террариях и просто на полу, во всех закоулках по всему институту завывали зычные хоры, как на болоте. Панкрат, и так боявшийся Персикова, как огня, теперь испытывал к нему одно чувство: мертвенный ужас. Через неделю и сам ученый почувствовал, что шалеет. Институт наполнился запахом эфира и цианистого калия, которым чуть-чуть не отравился Панкрат не вовремя снявший маску. Разросшееся поколение, наконец, удалось перебить ядами, кабинеты проветрить.

Иванову Персиков сказал так:

- Вы знаете, Петр Степанович, действие луча на дейтероплазму и вообще на яйцеклетку изумительно.

Иванов, холодный и сдержанный джентльмен, перебил профессора необычным тоном:

- Владимир Ипатьевич, что же вы толкуете о мелких деталях, об дейтероплазме. Будем говорить прямо: вы открыли что-то неслыханное, - видно с большой потугой, но все же Иванов выдавил из себя слова: -

профессор Персиков, вы открыли луч жизни!

Слабая краска показалась на бледных, небритых скулах Персикова.

- Ну-ну-ну-ну, - пробормотал он.

- Вы, - продолжал Иванов, - вы приобретете такое имя… У меня кружится голова. Вы понимаете, - продолжал он страстно, Владимир Ипатьевич, герои Уэльса по сравнению с вами просто вздор… А я то думал, что это сказки… Вы помните его “Пищу Богов”?

- А, это роман, - ответил Персиков.

- Ну да, Господи, известный же!..

- Я забыл его, - ответил Персиков, - помню, читал, но забыл.

- Как же вы не помните, да вы гляньте, - Иванов за ножку поднял со стеклянного стола невероятных размеров мертвую лягушку с распухшим брюхом. На морде ее даже после смерти было злобное выражение, - ведь это же чудовищно!

4. ПОПАДЬЯ ДРОЗДОВА

Бог знает почему, Иванов ли тут был виноват, или потому, что сенсационные известия передаются сами собой по воздуху, но только в гигантской кипящей Москве вдруг заговорили о луче и о профессоре Персикове. Правда, как-то вскользь и очень туманно. Известие о чудодейственном открытии прыгало, как подстреленная птица в светящейся столице, то исчезая, то вновь взвиваясь до половины июля, когда на 20-й странице газеты “Известия” под заголовком “Новости науки и техники” не появилась короткая заметка, трактующая о луче. Сказано было глухо, что профессор IV университета изобрел луч, невероятно повышающий жизнедеятельность низших организмов и что луч этот нуждается в проверке. Фамилия, конечно, была переврана и напечатано “Певсиков”.

Иванов принес газету и показал Персикову заметку.

- “Певсиков”, - проворчал Персиков, возясь с камерой в кабинете, - откуда эти свистуны все знают?

Увы, перевранная фамилия не спасла профессора от событий и они начались на другой же день, сразу нарушив всю жизнь Персикова.

Панкрат, предварительно постучавшись, явился в кабинет и вручил Персикову великолепную атласную визитную карточку.

- Он тамотко, - робко прибавил Панкрат.

На карточке было напечатано изящным шрифтом:

АЛЬФРЕД АРКАДЬЕВИЧ БРОНСКИЙ

сотрудник московских журналов - “Красный огонек”, “Красный перец”,

”Красный журнал”, “Красный прожектор”

и газеты “Красная вечерняя Москва”.

- Гони его к чертовой матери, - монотонно сказал Персиков и смахнул карточку под стол.

Панкрат повернулся и вышел и через пять минут вернулся со страдальческим лицом и со вторым экземпляром той же карточки.

- Ты что же смеешься? - проскрипел Персиков и стал страшен.

- Из гепею, они говорять, - бледнея, ответил Панкрат.

Персиков ухватился одной рукой за карточку, чуть не перервал ее пополам, а другой швырнул пинцет на стол. На карточке было написано кудрявым почерком:

”Очень прошу и извиняюсь, принять меня, многоуважаемый профессор, на три минуты по общественному делу печати и сотрудник сатирического журнала “Красный ворон”, издания ГПУ”.

- Позови-ка его сюда, - сказал Персиков и задохнулся.

Из-за спины Панкрата тотчас вынырнул молодой человек с гладко-выбритым маслянистым лицом. Поражали вечно поднятые, словно у индейца, брови и под ними ни секунды не глядевшие в глаза собеседнику агатовые глазки. Одет был молодой человек совершенно безукоризненно и модно. В узкий и длинный до колен пиджак, широчайшие штаны колоколом и неестественной ширины лакированные ботинки с носами, похожими на копыта. В руках молодой человек держал трость, шляпу с острым верхом и блокнот.

- Что вам надо? - спросил Персиков таким голосом, что Панкрат мгновенно ушел за дверь, - вам ведь сказали, что я занят?

Вместо ответа молодой человек поклонился профессору два раза на левый бок и на правый, а затем его глазки колесом прошлись по всему кабинету и тотчас молодой человек поставил в блокноте знак.

- Я занят, - сказал профессор, с отвращением глядя в глазки гостя, но никакого эффекта не добился, так как глазки были неуловимы.

- Прошу тысячу извинений, глубокоуважаемый профессор, заговорил молодой человек тонким голосом, - что я врываюсь к вам и отнимаю ваше драгоценное время, но известие о вашем мировом открытии, прогремевшее по всему миру, заставляет наш журнал просить у вас каких-либо объяснений.

- Какие такие объяснения по всему миру? - заныл Персиков визгливо и пожелтев, - я не обязан вам давать объяснения и ничего такого… Я занят… страшно занят.

- Над чем вы работаете? - сладко спросил молодой человек и вдруг застрочил в блокноте.

- Да я… вы что? Хотите напечатать что-то?

- ДаБ - ответил молодой человек и вдруг застрочил в блокноте.

- Во-первых, я не намерен ничего опубликовывать, пока я не кончу работы… тем более в этих ваших газетах… Во-вторых, откуда вы все это знаете?.. - И Персиков вдруг почувствовал, что теряется.

- Верно ли известие, что вы изобрели луч новой жизни?

- Какой такой новой жизни? - остервенился профессор, что вы мелете чепуху! Луч, над которым я работаю, еще далеко не исследован и вообще ничего еще не известно! Возможно, он повышает жизнедеятельность протоплазмы…

- Во сколько раз? - торопливо спросил молодой человек.

Персиков окончательно потерялся. “…Ну тип. Ведь это черт знает что такое!”

- Что за обывательские вопросы?.. Предположим, я скажу, ну, в тысячу раз!..

В глазках молодого человека мелькнула хищная радость.

- И получаются гигантские организмы?

- Да ничего подобного! Ну, правда, организмы, полученные мною, больше обыкновенных… Ну, имеют некоторые новые свойства… Но ведь тут главное не величие, а невероятная скорость размножения, - сказал на свое горе Персиков и тут же ужаснулся. Молодой человек исписал целую страницу, перелистнул ее и застрочил дальше.

- Вы же не пишете! - Уже сдаваясь и чувствуя, что он в руках молодого человека, в отчаянии просипел Персиков. - Что вы такое пишите?

- Правда ли, что в течении двух суток из икры можно получить два миллиона головастиков?

- Из какого количества икры? - вновь взбеленясь закричал Персиков. - Вы видели когда-нибудь икринку… ну, скажем, квакши?

- Из полуфунта? - не смущаясь спросил молодой человек.

Персиков побагровел.

- Кто же меряет так? Тьфу! Что вы такое говорите? Ну, конечно, если взять полфунта лягушачей икры… тогда пожалуй… черт, ну, около этого количества, а может быть, и гораздо больше!

Бриллианты загорелись в глазах молодого человека и он в один взмах исчеркал еще одну страницу.

- Правда ли, что это вызовет мировой переворот в животноводстве?

- Что за газетный вопрос, - завыл Персиков, - и вообще, я не даю вам разрешения писать чепуху. Я вижу по вашему лицу, что вы писали какую-то мерзость.

- Вашу фотографическую карточку, профессор, убедительно прошу, - молвил молодой человек и захлопнул блокнот.

- Что? Мою карточку? Это в ваши журнальчики? Вместе с этой чертовщиной, которую вы там пишете. Нет, нет, нет… И я занят… попрошу вас.

- Хотя бы старую. И мы вам ее вернем моментально.

- Панкрат! - закричал профессор в бешенстве.

- Честь имею кланяться, - сказал молодой человек и пропал.

Вместо Панкрата послышалось за дверью странное мерное скрипенье машины, кованное постукивание в пол и в кабинете появился необычайной толщины человек, одетый в блузу и штаны, сшитые из одеяльного драпа. Левая его, механическая, нога щелкала и громыхала, а в руках он держал портфель. Его бритое круглое лицо, налитое желтоватым студнем, являло приветливую улыбку. Он по-военному поклонился профессору и выпрямился, отчего его нога пружинно щелкнула. Персиков онемел.

- Господин профессор, - начал незнакомец приятным сиповатым голосом, - простите простого смертного, нарушившего ваше уединение.

- Вы репортер? - спросил Персиков. - Панкрат!!

- Никак нет, господин профессор, - ответил толстяк, позвольте представиться - капитан дальнего плавания и сотрудник газеты “Вестник промышленности” при Совете Народных Комиссаров.

- Панкрат!! - истерически закричал Персиков и тотчас в углу выкинул красный сигнал и мягко прозвенел телефон. - Панкрат! - повторил профессор, - я слушаю.

- Ферцайен зи битте, херр профессор, - захрипел телефон по-немецки, - дас их штере. Их бин митарбейтер дес Берлинер Тагеблатс… <Извините меня, герр профессор, за беспокойство. Я сотрудник “Берлинер тагеблат”.. (нем.)>

- Панкрат, - закричал в трубку профессор, - бин моменталь зер бешефтигт унд кан зи десхальб етцг нихт емпфанген! Панкрат!! <В данный момент я очень занят и никак не могу принять вас!.. (нем.)>

А на парадном входе института в это время начались звонки.

- Кошмарное убийство на Бронной улице!! - завывали неестественные сиплые голоса, вертясь в гуще огней между колесами и вспышками фонарей на нагретой июньской мостовой, - кошмарное появление болезни кур у вдовы попадьи Дроздовой с ее портретом!.. Кошмарное открытие луча жизни профессора Персикова!!

Персиков мотнулся так, что чуть не попал под автомобиль на Моховой и яростно ухватился за газету.

- Три копейки, гражданин! - закричал мальчишка, и вжимаясь в толпу на тротуаре вновь завыл: “Красная вечерняя газета”, открытие Х-луча!!

Ошеломленный Персиков развернул газету и прижался к фонарному столбу. На второй странице в левом углу в смазанной рамке глянул на него лысый, с безумными незрячими глазами, с повисшей нижней челюстью человек, плод художественного творчества Альфреда Бронского. “В.И.Персиков, открывший загадочный красный луч”, гласила подпись под

рисунком. Ниже под заголовком “Мировая загадка” начиналась статья словами:

”Садитесь, - приветливо сказал нам маститый ученый Персиков…”

Под статьей красовалась подпись “Альфред Бронский (Алонзо)”.

Зеленоватый свет взлетел над крышей университета, на небе выскочили слова “Говорящая газета” и тотчас толпа запрудила Моховую.

”Садитесь!!! - завыл вдруг в рупоре на крыше неприятнейший тонкий голос, совершенно похожий на голос увеличенного в тысячу раз Альфреда Бронского, - приветливо сказал нам маститый ученый Персиков! Я давно хотел познакомить московский пролетариат с результатами моего открытия…”

Тихое механическое скрипение послышалось за спиною у Персикова и кто-то потянул его за рукав. Обернувшись он увидал желтое круглое лицо владельца механической ноги. Глаза у того были увлажнены слезами и губы вздрагивали.

- Меня, господин профессор, вы не пожелали познакомить с результатами вашего изумительного открытия, - сказал он печально и глубоко вздохнул, - прогнали мои полтора червячка.

Он тоскливо глядел на крышу университета, где в черной пасти бесновался невидимый Альфред. Персикову почему-то стало жаль толстяка.

- Я, - пробормотал он, с ненавистью ловя слова с неба, никакого “садитесь” ему не говорил! Это просто наглец необыкновенного свойства! Вы меня простите, пожалуйста, - но право же, когда работаешь и врывается… Я не про вас, конечно, говорю…

- Может быть, вы мне, господин профессор, хотя бы описание вашей камеры дадите? - заискивающе и скорбно говорил механический человек, - ведь вам теперь все равно…

- Из полуфунта икры в течении 3-х дней вылупляется такое количество головастиков, что их нет никакой возможности сосчитать, - ревел

невидимый в рупоре.

- Ту-ту, - глухо кричали автомобили на Моховой.

- Го-го-го… Ишь ты, го-го-го - шуршала толпа, задирая головы.

- Каков мерзавец? А? - дрожа от негодования, зашипел Персиков механическому человеку. - Как вам это нравится? Да, я жаловаться на него буду!

- Возмутительно! - согласился толстяк.

Ослепительнейший фиолетовый луч ударил в глаза профессора и все кругом вспыхнуло, - фонарный столб, кусок торцовой мостовой, желтая стена, любопытные лица.

- Это вас, господин профессор, - восхищенно шепнул толстяк и повис на рукаве профессора, как гиря. В воздухе что-то заскрежетало.

- А ну их всех к черту! - тоскливо вскричал Персиков, выдираясь с гирей из толпы. - Эй, таксомотор. На Пречистенку!

Облупленная старенькая машина, конструкции 24-го года заклокотала у тротуара и профессор полез в ландо, стараясь отцепиться от толстяка.

- Вы мне мешаете, - шипел он и закрывался кулаками от фиолетового света.

- Читали?! Чего оруть?.. Профессора Персикова с детишками зарезали на Малой Бронной!! - кричали кругом в толпе.

- Никаких у меня детишек нету, сукины дети, - заорал Персиков и вдруг попал в фокус черного аппарата, застрелившего его в профиль с открытым ртом и яростными глазами.

- Крх…ту… крх…ту, - закричал таксомотор и врезался в гущу. Толстяк уже сидел в ландо и грел бок профессору.

5. КУРИНАЯ ИСТОРИЯ

В уездном заштатном городке, бывшем Троицке, а ныне Стекловске, Костромской губернии, Стекловского уезда, на крылечке домика на бывшей Соборной, а ныне Карларадековской улице, вышла повязанная платочком женщина в сером платье с ситцевыми букетами и зарыдала. Женщина эта, вдова бывшего соборного протоиерея бывшего собора Дроздова, рыдала так громко, что вскорости из домика через улицу, в окошко высунулась бабья голова в пуховом платке и воскликнула:

- Что ты, Степановна, али еще?

- Семнадцатая! - разливаясь в рыданиях, ответила бывшая Дроздова.

- Ахти-х-тих, - заскулила и закачала головой бабья голова, ведь что такое? - Прогневался Господь, истинное слово! Да неужто ж сдохла?

- Да ты глянь, глянь, Матрена, - бормотала попадья, всхлипывая громко и тяжко, - ты глянь, что с ей!

Хлопнула серенькая покосившаяся калитка, бабьи ноги прошлепали по пыльным горбам улицы, и мокрая от слез попадья повела Матрену на свой птичий двор.

Надо сказать, что вдова отца протоиерея Савватия Дроздова, скончавшегося в 26 году от антирелигиозных огорчений, не опустила рук, а основала замечательное куроводство. Лишь только вдовьины дела пошли в гору, вдову обложили таким налогом, что куроводство чуть-чуть не прекратилось, кабы не добрые люди. Они надоумили вдову подать местным властям заявление о том, что она, вдова, основывает трудовую куроводную артель. В состав артели вошла сама Дроздова, верная прислуга ее Матрешка и вдовьина глухая племянница. Налог с вдовы сняли и куроводство ее процвело настолько, что к 28-му году у вдовы на пыльном дворике, окаймленном куриными домишками, ходило до 250 кур, в числе которых были даже кохинхинки. Вдовьины яйца каждое воскресенье появлялись на Стекловском рынке, вдовьиными яйцами торговали в Тамбове, а бывало, что они показывались и в стеклянных витринах магазина бывшего “Сыр и масло Чичикина в Москве”.

И вот, семнадцатая по счету с утра брамапутра, любимая хохлатка, ходила по двору и ее рвало. “Эр… рр… урл… урл. го-го-го”, - выделывала хохлатка и закатывала грустные глаза на солнце так, как будто видела его в последний раз. Перед носом курицы на корточках плясал член артели Матрешка с чашкой воды.

- Хохлаточка, миленькая… цып-цып-цып… испей водицы, - умоляла Матрешка и гонялась за клювом хохлатки с чашкой, но хохлатка пить не желала. Она широко раскрывала клюв, задирала голову кверху. Затем ее начинало рвать кровью.

- Господи Исусе! - вскричала гостья, хлопнув себя по бедрам, это что ж такое делается? Одна резаная кровь. Никогда не видала, с места не сойти, что бы курица, как человек маялась животом.

Это и были последние напутственные слова бедной хохлатке. Она вдруг кувыркнулась на бок, беспомощно потыкала клювом в пыль и завела глаза. Потом повернулась на спину, обе ноги задрала кверху и осталась неподвижной. Басом заплакала матрешка, расплескав чашку, и сама попадья - председатель артели, а гостья наклонилась к ее уху и зашептала:

- Степановна, землю буду есть, что кур твоих испортили. Где же это видано! Ведь, таких и курьих болезней нет! Это твоих кур кто-то заколдовал.

- Враги жизни моей! - воскликнула попадья к небу, - что ж они со свету меня сжить хочут?

Словам ее ответил громкий петушиный крик и затем из курятника выдрался как-то боком, точно беспокойный пьяница из пивного заведения, обдерганный поджарый петух. Он зверски выкатил на них глаза, потоптался на месте, крылья распростер, как орел, но никуда не улетел, а начал бег по двору. По кругу, как лошадь на корде. На третьем круге он остановился и его стошнило, потом он стал харкать и хрипеть, наплевал вокруг себя кровавых пятен, повернулся, и лапы его уставились к солнцу, как мачты. Женский вой огласил двор. И в куриных домиках ему отвело беспокойное клохтанье, хлопанье и возня.

- Ну, не порча? - победоносно спросила гостья. - Зови отца Сергия, пущай служит.

В шесть часов вечера, когда солнце сидело низко огненною рожею между рожами молодых подсолнухов, на дворе куроводства отец Сергий, настоятель соборного храма, закончив молебен, вылезал из епитрахили. Любопытные головы людей торчали над древненьким забором и в щелях его. Скорбная попадья, приложившаяся к кресту, густо смочила канареечный рваный рубль слезами и вручила его отцу Сергию, на что тот, вздыхая заметил что-то насчет того, что вот, мол, Господь прогневался на нас. Вид при этом у отца Сергия был такой, что он прекрасно знает, почему именно прогневался Господь, но только не скажет.

Затем толпа с улицы разошлась, а так как куры ложатся рано, то никто и не знал, что у соседа попадьи Дроздовой, в курятнике подохло сразу трое кур и петух. Их рвало так же, как и дроздовских кур, но только смерти произошли в запертом курятнике и тихо. Петух свалился с насеста вниз головой и в такой позиции кончился. Что касается кур вдовы, то они прикончились тотчас после молебна и к вечеру в курятниках было мертво и тихо, лежала грудами закоченевшая птица.

На утро город встал, как громом пораженный, потому, что история приняла размеры страшные и чудовищные. На Карларадековской улице к полудню осталось в живых только три курицы, в крайнем домике, где снимал квартиру уездный фининспектор, но и те издохли к часу дня. А к вечеру городок Стекловск гудел и кипел, как улей и по нем катилось грозное слово “мор”. Фамилия Дроздовой попала в местную газету “Красный боец” в статье под заголовком: “Неужели куриная чума”, а оттуда пронеслась в Москву.

Жизнь профессора Персикова приняла окраску странную, беспокойную и волнующую. Одним словом, работать в такой обстановке было просто невозможно. На другой день после того, как он развязался с Альфредом Бронским, ему пришлось выключить у себя в кабинете в институте телефон, снявши трубку, а вечером, проезжая в трамвае по охотному ряду, профессор увидел самого себя на крыше огромного дома с черною надписью “РАБОЧАЯ ГАЗЕТА”. Он, профессор, дробясь и зеленея, и мигая, лез в ландо такси, а за ним, цепляясь за рукав, лез механический шар в одеяле. Профессор на крыше, на белом экране закрывался от фиолетового луча кулаками. Засим выскочила огненная надпись:

”ПРОФЕССОР ПЕРСИКОВ, ЕДУЧИ В АВТО, ДАЕТ ОБЪЯСНЕНИЕ

НАШЕМУ ЗНАМЕНИТОМУ РЕПОРТЕРУ КАПИТАНУ СТЕПАНОВУ”.

И точно: мимо храма Христа, по Волхонке, проскочил зыбкий автомобиль и в нем барахтался профессор и физиономия у него была как у затравленного волка.

- Это какие-то черти, а не люди, - сквозь зубы пробормотал зоолог и проехал.

Того же числа вечером, вернувшись к себе на Пречистенку, зоолог получил от экономки, Марьи Степановны, 17 записок с номерами телефонов, кои звонили к нему во время его отсутствия, и словесное заявление Марьи Степановны, что она замучилась. Профессор хотел разодрать записки, но остановился, потому что против одного из номеров увидел приписку:

”Народный комиссар здравоохранения”.

- Что такое? - искренне недоумевал ученый чудак. - Что с ними такое сделалось?

В 10 с 1/4 того же вечера раздался звонок и профессор вынужден был беседовать с неким ослепительным по убранству гражданином. Принял его профессор благодаря визитной карточке, на которой было изображено (без имени и фамилии):

”Полномочный шеф

торговых отделов иностранных представительств

при Республике Советов”.

- Черт бы его взял, - прорычал Персиков, бросил на зеленое сукно лупу и какие-то диаграммы и сказал Марье Степановне:

- Позовите его сюда, в кабинет, этого самого уполномоченного.

- Чем могу служить? - спросил Персиков таким тоном, что шефа несколько передернуло. Персиков пересадил очки с переносицы на лоб, затем обратно и разглядел визитера. Тот весь светился лаком и драгоценными камнями и в правом глазу у него сидел монокль.

”Какая гнусная рожа”, - почему-то подумал Персиков.

Начал гость издалека, именно попросил разрешения закурить сигару, вследствие чего Персиков с большой неохотой пригласил его сесть. Далее гость произнес длинные извинения по поводу того, что он пришел слишком поздно: “Но… господина профессора невозможно днем никак поймать… хи-хи… пардон… застать” (гость, смеясь, всхлипывал, как гиена).

- Да, я занят! - Так коротко ответил Персиков, что судорога вторично прошла по гостю.

Тем не менее он позволил себе беспокоить знаменитого ученого:

- Время - деньги, как говорится… Сигара не мешает профессору?

- Мур-мур-мур, - ответил Персиков. Он позволил…

- Профессор ведь открыл луч жизни?

- Помилуйте, какой такой жизни?! Это выдумки газетчиков! - оживился Персиков.

- Ах, нет, хи-хи-хэ… Он прекрасно понимает ту скромность, которая составляет истинное украшение всех настоящих ученых… о чем же говорить… Сегодня есть телеграммы… В мировых городах, как-то:

Варшаве и Риге уже известно насчет луча. Имя проф. Персикова повторяет весь мир… Весь мир следит за работой проф. Персикова, затаив дыхание… Но всем прекрасно известно, как тяжко положение ученых в Советской России. Антр ну суа ди… Здесь никого нет посторонних?.. Увы, здесь не умеют ценить ученые труды, так вот он хотел бы переговорить с профессором… Одно иностранное государство предлагает профессору Персикову совершенно бескорыстно помощь в его лабораторных работах. Зачем метать бисер, как говорится в Священном писании. Государству известно, как тяжко профессору пришлось в 19-м году и 20-м во время этой хи-хи… революции. Ну, конечно, строгая тайна… профессор ознакомит государство с результатами работы, а оно за это финансирует профессора. Ведь он построил камеру, вот интересно было бы ознакомиться с чертежами этой камеры…

И тут гость вынул из внутреннего кармана пиджака белоснежную пачку бумажек…

Какой-нибудь пустяк, 5. 000 Рублей, например, задатку, профессор может получить сию же минуту… и расписки не надо… профессор даже обидит полномочного торгового шефа, если заговорит о расписке.

- Вон!!! - вдруг гаркнул Персиков так страшно, что пианино в гостиной начало издавать звук на тонких клавишах.

Гость исчез так, что дрожащий от ярости Персиков через минуту и сам сомневался уже, был ли он или это галлюцинация.

- Его калоши?! - выл через минуту Персиков в передней.

- Они забыли, - отвечала дрожащая Марья Степановна.

- Выкинуть их вон!

- Куда же я их выкину. Они придут за ними.

- Сдать их в домовой кабинет. Под расписку. Чтоб не было духу этих калош! В комитет! Пусть примут шпионские калоши!..

Марья Степановна, крестясь, забрала великолепные калоши и унесла их на черный ход. Там постояла за дверью, а потом калоши спрятала в

кладовку.

- Сдали? - бушевал Персиков.

- Сдала.

- Расписку мне.

- Да, Владимир Ипатьевич. Да неграмотный же председатель.

- Сию секунду. Чтоб. Была. Расписка. Пусть за него какой-нибудь грамотный сукин сын распишется!

Марья Степановна только покрутила головой, ушла и вернулась через 1/4 часа с запиской:

”Получено в фонд от проф. Персикова 1 (одна) па кало. Колесов”

- А это что?

- Жетон-с.

Персиков жетон истоптал ногами, а расписку спрятал под пресс. Затем какая-то мысль омрачила его крутой лоб. Он бросился к телефону, вытрезвонил Панкрата в институте и спросил у него: “Все ли благополучно?” Панкрат нарычал что-то такое в трубку, из чего можно было понять, что, по его мнению, все благополучно. Но Персиков успокоился только на одну минуту. Хмурясь, он уцепился за телефон и наговорил в трубку такое:

- Дайте мне эту, как ее, лубянку. Мерси… Кому тут из вас надо сказать… у меня тут какие-то подозрительные субъекты в калошах ходят, да… Профессор IV университета Персиков…

Трубка вдруг резко оборвала разговор, Персиков отошел, ворча сквозь зубы какие-то бранные слова.

- Чай будете пить, Владимир Ипатьевич? - робко осведомилась Марья Степановна, заглянув в кабинет.

- Не буду я пить никакого чаю… мур-мур-мур, и черт их всех возьми… как взбесились, все равно…

Ровно через десять минут профессор принимал у себя в кабинете новых гостей. Один из них приятный, круглый и очень вежливый, был в скромном, защитном военном френче и рейтузах. На носу у него сидело, как хрустальная бабочка, пенсне. Вообще он напоминал ангела в лакированных сапогах. Второй, низенький, страшно мрачный был в штатском, но штатское на нем сидело так, словно оно его стесняло. Третий гость вел себя особенно, он не вошел в кабинет профессора, а остался в полутемной передней. При этом освещенный и пронизанный стручками табачного дыма кабинет был ему насквозь виден. На лице этого третьего, который был тоже в штатском, красовалось дымчатое пенсне.

Двое в кабинете совершенно замучили Персикова, рассматривая визитную карточку, расспрашивая о пяти тысячах и заставляя описывать наружность гостя.

- Да черт его знает, - бубнил Персиков, - ну противная физиономия. Дегенерат.

- А глаз у него не стеклянный? - спросил маленький хрипло.

- А черт его знает. Нет, впрочем, не стеклянный, бегают глаза.

- Рубинштейн? - вопросительно и тихо отнесся ангел к штатскому маленькому. Но тот хмуро и отрицательно покачал головой.

- Рубинштейн не даст без расписки, ни в коем случае, забурчал он, - это не Рубинштейнова работа. Тут кто-то покрупнее.

История о калошах вызвала взрыв живейшего интереса со стороны гостей. Ангел молвил в телефон домовой конторы только несколько слов: “Государственное политическое управление сию минуту вызывает секретаря домкома Колесова в квартиру профессора Персикова с калошами”, - и Колесов тотчас, бледный, появился в кабинете, держа калоши в руках.

- Васенька! - негромко окликнул ангел того, который сидел в передней. Тот вяло поднялся и словно развинченный плелся в кабинет. Дымчатые стекла совершенно поглотили его глаза.

- Ну? - спросил он лаконически и сонно.

- Калоши.

Дымные глаза скользнули по калошам и при этом Персикову почудилось, что из-под стекол вбок, на одно мгновенье, сверкнули вовсе не сонные, а наоборот изумительно колючие глаза. Но они моментально угасли.

- Ну, Васенька?

Тот, кого называли Васенькой, ответил вялым голосом:

- Ну что тут, ну. Пеленжковского калоши.

Немедленно фонд лишился подарка профессора Персикова. Калоши исчезли в газетной бумаге. Крайне обрадовавшийся ангел во френче встал и начал жать руку профессору, и даже произнес маленький спич, содержание которого сводилось к следующему: это делает честь профессору… Профессор может быть спокоен… больше никто его не потревожит, ни в институте, ни дома… меры будут приняты, камеры его в совершеннейшей безопасности…

- А нельзя ли, чтобы вы репортеров расстреляли? - спросил Персиков, глядя поверх очков.

Этот вопрос развеселил чрезвычайно гостей. Не только хмурый маленький, но даже дымчатый улыбнулся в передней. Ангел, искрясь и сияя, объяснил… что пока, гм… конечно, это было бы хорошо… о, видите ли, все-таки пресса… хотя, впрочем, такой проект уже назревает в Совете труда и обороны… честь имеем кланяться.

- А это что за каналья у меня была?

Тут все перестали улыбаться и ангел ответил уклончиво, что это так, какой-нибудь мелкий аферист, не стоит обращать внимания… тем не менее

он убедительно просит гражданина профессора держать в полной тайне происшествие сегодняшнего вечера, и гости ушли.

Персиков вернулся в кабинет, к диаграммам, но заниматься ему все-таки не пришлось. Телефон выбросил огненный кружочек и женский голос предложил профессору, если он желает жениться на вдове интересной и пылкой, квартиру в семь комнат. Персиков завыл в трубку:

- Я вам советую лечиться у профессора Россолимо… - И получил второй звонок.

Тут Персиков совершенно обмяк, потому, что лицо, достаточно известное звонило из Кремля, долго и сочувственно расспрашивало Персикова о его работе и изъявило желание навестить лабораторию. Отойдя от телефона Персиков вытер лоб и трубку снял. Тогда в верхней квартире загремели страшные трубы и полетели вопли Валькирий, - радиоприемник у директора суконного треста принял вагнеровский концерт в Большом театре. Персиков под вой и грохот, сыплющийся с потолка, заявил Марье Степановне, что он уедет из Москвы, что он будет судиться с директором, что он сломает ему этот приемник, потому, что, очевидно, задались целью его выжить вон. Он разбил лупу и лег спать в кабинете на диване и заснул под нежные переборы клавишей знаменитого пианиста, прилетевшие из Большого театра.

Сюрпризы продолжались и на следующий день. Приехав на трамвае к институту, Персиков застал на крыльце неизвестного ему гражданина в модном зеленом котелке. Тот внимательно оглядел Персикова, но не отнесся к нему ни с какими вопросами и поэтому Персиков его стерпел. Но в передней института, кроме растерянного Панкрата, навстречу Персикову поднялся второй котелок и вежливо его приветствовал:

- Здравствуйте, гражданин профессор.

- Что вам надо? - страшно спросил Персиков, сдирая при помощи Панкрата с себя пальто. Но котелок быстро утихомирил Персикова, нежнейшим голосом нашептав, что профессор напрасно беспокоится. Он, котелок, именно затем здесь и находится, чтобы избавить профессора от всяких назойливых посетителей… что профессор может быть спокоен не только за двери кабинета, но даже и за окна. Засим неизвестный отвернул

на мгновение борт пиджака и показал профессору какой-то значок.

- Гм… однако, у вас здорово поставлено дело, - промычал Персиков и прибавил наивно, - а что вы здесь будете есть?

На это котелок усмехнувшись объяснил, что его будут сменять.

Три дня после этого прошли великолепно. Навещали профессора два раза из Кремля, да один раз были студенты, которых Персиков экзаменовал. Студенты порезались все до единого, и по их лицам было видно, что теперь уже Персиков возбуждает в них просто суеверный ужас.

- Поступайте в кондуктора! Вы не можете заниматься зоологией, - неслось из кабинета.

- Строг? - спрашивал котелок у Панкрата.

- У, не приведи Бог, - отвечал Панкрат, - ежели какой-нибудь и выдержит, выходит, голубчик, из кабинета и шатается. Семь потов с него сойдет. И сейчас в пивную.

За всеми этими делишками профессор не заметил трех суток, но на четвертые его вновь вернули к действительной жизни, и причиной этого был тонкий и визгливый голос с улицы.

- Владимир Ипатьич! - прокричал голос в открытое окно кабинета с улицы Герцена. Голосу повезло: Персиков слишком переутомился за последние дни. В этот момент он как раз отдыхал, вяло и расслабленно смотрел глазами в красных кольцах и курил в кресле. Он больше не мог. И поэтому даже с некоторым любопытством выглянул в окно и увидал на тротуаре Альфреда Бронского. Профессор сразу узнал титулованного обладателя карточки по остроконечной шляпе и блокноту. Бронский нежно и почтительно поклонился окну.

- Пару минуточек, дорогой профессор, - заговорил Бронский, напрягая голос, с тротуара, - я только один вопрос и чисто зоологический. Позвольте предложить?

- Предложите, - лаконически и иронически ответил Персиков и подумал: “Все-таки в этом мерзавце есть что-то американское”.

- Что вы скажете за кур, дорогой профессор? - крикнул Бронский, сложив руки щитком.

Персиков изумился. Сел на подоконник, потом слез, нажал кнопку и закричал, тыча пальцем в окно:

- Панкрат, впусти этого, с тротуара.

Когда Бронский появился в кабинете, Персиков настолько простер свою ласковость, что рявкнул ему:

- Садитесь!

И Бронский, восхищенно улыбаясь, сел на винтящийся табурет.

- Объясните мне, пожалуйста, - заговорил Персиков, - вы пишите там в этих ваших газетах?

- Точно так, - почтительно ответил Альфред.

- И вот мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить по-русски. Что это за “пара минуточек” и “за кур”? Вы, вероятно, хотели спросить “насчет кур”?

Бронский почтительно рассмеялся:

- Валентин Петрович исправляет.

- Кто это такой Валентин Петрович?

- Заведующий литературной частью.

- Ну, ладно. Я, впрочем, не филолог. В сторону вашего Петровича! Что именно вам желательно знать насчет кур?

- Вообще все, что вы скажете, профессор.

Тут Бронский вооружился карандашом. Победные искры взметнулись в глазах Персикова.

- Вы напрасно обратились ко мне, я не специалист по пернатым. Вам

лучше всего было бы обратиться к Емельяну Ивановичу Португалову, в I университете. Я лично знаю весьма мало…

Бронский восхищенно улыбнулся, давая понять, что он понял шутку дорогого профессора. “Шутка - мало!” - черкнул он в блокноте.

- Впрочем, если вам интересно, извольте. Куры или гребеньчатые… Род птиц из отряда куриных. Из семейства фазановых… - заговорил Персиков громким голосом, и глядя не на Бронского, а куда-то в даль, перед ним подразумевались тысяча человек, - …из семейства фазановых… фазианидэ. Представляют собою птиц с мясисто-кожным гребнем и двумя лопастями под нижней челюстью… гм… хотя, впрочем, бывает и одна в середине подбородка… Ну, что же еще. Крылья короткие и округленные… Хвост средней длины, несколько ступенчатый, даже, я бы сказал, крышеобразный, средние перья серпообразно изогнуты… Панкрат… принеси из модельного кабинета модель номер 705, разрезной петух… впрочем, вам это не нужно?.. Панкрат, не приноси модели… Повторяю вам, я не специалист, идите к Португалову. Ну-с, мне лично известно шесть видов дикоживущих кур… гм… Португалов знает больше… в Индии и на Малайском архипелаге. Например, Банкивский петух, или Казинту, он водится в предгорьях Гималаев, по всей Индии, в Ассаме, в Бирме… Вилохвостый петух, или Галлюс Вариус, на Ломбоке, Сумбаве и Флорес. А на острове Яве имеется замечательный петух Галлюс Энеус. На юго-востоке Индии могу вам рекомендовать очень красивого зоннератова петуха… Я вам покажу рисунок. Что же касается Цейлона, то на нем встречаем петуха Стенли, больше он нигде не водится.

Бронский сидел, вытаращив глаза и строчил.

- Еще что-нибудь вам сообщить?

- Я бы хотел что-нибудь узнать насчет куриных болезней, - тихонечко шепнул Альфред.

- Гм, не специалист я… вы Португалова спросите… А впрочем… Ну, ленточные глисты, сосальщики, чесоточный клещ, железница, птичий клещ, куриная вошь или пухоед, блохи, куриная холера, крупозно-дифтерийное воспаление слизистых оболочек… Пневмокониоз, туберкулез, куриные парши… мало ли что может быть… (искры прыгали в

глазах Персикова).. отравление, например бешеницей, опухоли, английская болезнь, желтуха, ревматизм, грибок Ахорион Шенляйни… очень интересная болезнь: при заболевании на гребне образуются маленькие пятна, похожие на плесень…

Бронский вытер пот со лба цветным носовым платком.

- А какая же, по-вашему мнению, профессор, причина теперешней катастрофы?

- Какой катастрофы?

- Как, разве вы не читали, профессор? - удивился Бронский и вытащил из портфеля измятый лист газеты “Известия”.

- Я не читаю газет, - ответил Персиков и насупился.

- Но почему же, профессор? - нежно спросил Альфред.

- Потому что они чепуху какую-то пишут, - не задумываясь, ответил Персиков.

- Но как же, профессор? - мягко шепнул Бронский и развернул лист.

- Что такое? - спросил Персиков и даже поднялся с места. Теперь искры запрыгали в глазах у Бронского. Он подчеркнул острым, лакированным пальцем невероятнейший заголовок через всю страницу газеты

”Куриный мор в республике”.

- Как? - спросил Персиков, сдвигая на лоб очки…

6. МОСКВА В ИЮНЕ 1928 ГОДА

Она светилась, огни танцевали, гасли и вспыхивали. На Театральной площади вертелись белые фонари автобусов, зеленые огни трамваев, над бывшим Мюр и Мерилизом, над десятым надстроенным на него этажом, прыгала электрическая разноцветная женщина, выбрасывая по буквам разноцветные слова: “РАБОЧИЙ КРЕДИТ”. В сквере против Большого театра, где бил ночью разноцветный фонтан, толкалась и гудела толпа. А над Большим театром гигантский рупор завывал:

- Антикуриная прививка в Лефортовском ветеринарном институте дала блестящие результаты. Количество… куриных смертей за сегодняшнее число уменьшилось вдвое…

Затем рупор менял тембр, что-то рычало в нем, над театром вспыхивала и угасала зеленая струя и рупор жаловался басом:

- Образована чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой в составе наркомздрава, наркомзема, заведующего животноводством товарища Птахи-Поросюка, профессоров Персикова и Португалова… и товарища Рабиновича!… Новые попытки интервенции!… - хохотал и плакал, как шакал, рупор, - в связи с куриной чумой!

Театральный проезд, Неглинный и Лубянка пылали белыми, фиолетовыми полосами, брызгали лучами, выли сигналами, клубились пылью. Толпы народа теснились у стен у больших листов объявлений, освещенных резкими красными рефлекторами:

”Под угрозой тягчайшей ответственности воспрещается населению употреблять в пищу куриное мясо и яйца. Частные торговцы при попытке продажи их на рынках подвергаются уголовной ответственности с конфискацией всего имущества. Все граждане, владеющие яйцами, должны в срочном порядке сдать их в районные отделения милиции”.

На крыше “Рабочей газеты”, на экране грудой до самого неба лежали куры и зеленоватые пожарные, дробясь и искрясь, из шлангов поливали их керосином. Затем красные волны ходили по экрану, неживой дым распухал и мотался клочьями, полз струей, выскакивала огненная надпись:

”Сожжение куриных трупов на Ходынке”.

Слепыми дырами глядели среди бешено пылающих витрин магазинов, торгующих до 3 часов ночи, с двумя перерывами на обед и ужин, заколоченные окна под вывесками: “Яичная торговля. За качество гарантия”. Очень часто, тревожно завывая, мимо милиционеров проносились шипящие машины с надписью: “Мосздравотдел. Скорая помощь”.

- Обожрался еще кто-то гнилыми яйцами, - шуршали в толпе.

В Петровских линиях зелеными и оранжевыми фонарями сиял знаменитый на весь мир ресторан “Ампир” и в нем на столиках, у переносных телефонов, лежали картонные вывески, залитые пятнами ликеров: “По распоряжению - омлета нет. Получены свежие устрицы”.

В Эрмитаже, где бусинками жалобно горели китайские фонарики в неживой, задушенной зелени, на убивающей глаза своим пронзительным светом эстраде куплетисты Шрамс и Карманчиков пели куплеты, сочиненные поэтами Ардо и Аргуевым.

Ах, мама, что я буду делать

Без яиц?? -

и грохотали ногами в чечетке.

Театр покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно в 1927 году при постановке пушкинского “Бориса Годунова”, когда обрушились трапеции с голыми боярами, выбросил движущуюся разных цветов электрическую вывеску, возвещавшую пьесу писателя Эрендорга “Куриный дох” в постановке ученика Мейерхольда, заслуженного режиссера республики Кухтермана. Рядом, в Аквариуме, переливались рекламными огнями и блестя полуобнаженным женским телом, в зелени эстрады, под гром аплодисментов, шло обозрение писателя Ленивцева “Курицыны дети”. А по Тверской с фонариками по бокам морд, шли

вереницею цирковые ослики, несли на себе сияющие плакаты.

В театре Корш

возобновляется “Шантеклер” Ростана.

Мальчишки-газетчики рычали и выли между колес моторов:

- Кошмарная находка в подземелье! Польша готовится к кошмарной войне!!. Кошмарные опыты профессора Персикова!!

В цирке бывшего Никитина, на приятно пахнущей навозом коричневой жирной арене мертвенно-бледный клоун Бом говорил распухшему в клетчатой водянке Биму:

- Я знаю от чего ты такой печальный!

- Отциво? - пискливо спрашивал Бим.

- Ты зарыл яйца в землю, а милиция 15-го участка их нашла.

- Га-га-га-га, - смеялся цирк так, что в жилах стыла радостно и тоскливо кровь и под стареньким куполом веяли трапеции и паутина.

- А-ап! - пронзительно кричали клоуны и кормленая белая лошадь выносила на себе чудной красоты женщину, на стройных ногах, в малиновом трико.

Не глядя ни на кого, никого не замечая, не отвечая на подталкивания и тихие и нежные зазывания проституток, пробирался по Моховой, вдохновенный и одинокий, увенчанный неожиданной славой Персиков к огненным часам у Манежа. Здесь, не глядя кругом, поглощенный своими мыслями, он столкнулся со странным, старомодным человеком, пребольно ткнувшись пальцами прямо в деревянную кобуру револьвера, висящего у

человека на поясе.

- Ах, черт! - пискнул Персиков, - извините.

- Извиняюсь, - ответил встречный неприятным голосом, и кое-как они расцепились в людской каше. И профессор, направляясь на Пречистенку, тотчас забыл о столкновении.

7. РОКК

Неизвестно, точно ли хороши были лефортовские ветеринарные прививки, умелы ли заградительные самарские отряды, удачны ли крутые меры, принятые по отношению к скупщикам яиц в Калуге и Воронеже, успешно ли работала чрезвычайная московская комиссия, но хорошо известно, что через две недели после последнего свидания Персикова с Альфредом в смысле кур в Союзе республик было совершенно чисто. Кое-где в двориках уездных городков валялись куриные сиротливые перья, вызывая слезы на глазах, да в больницах попадались последние из жадных, доканчивая кровавый понос со рвотой. Людских смертей, к счастью, на всю республику было не более тысячи. Больших беспорядков тоже не последовало. Объявился было, правда, в Волоколамске пророк, возвестивший, что падеж кур вызван ни кем иным как комиссарами, но особого успеха не имел. На волоколамском базаре побили нескольких милиционеров, отнимавших кур у баб, да выбили стекла в местном почтово-телеграфном отделении. По счастью, расторопные волоколамские власти приняли меры, в результате которых, во-первых пророк прекратил свою деятельность, во-вторых стекла на телеграфе вставили.

Дойдя на Севере до Архангельска и Сюмкина Выселка, мор остановился сам собой по той причине, что идти ему было дальше некуда, - в Белом море, как известно, куры не водятся. Остановился он и во Владивостоке, ибо далее был океан. На далеком Юге - пропал и затих где-то в выжженых пространствах Ордубата, Джудьбы и Карабулака, а на Западе удивительным образом задержался как раз на польской и румынской границах. Климат, что ли, там был иной или сыграли роль заградительные кордонные меры, принятые соседними правительствами, но факт тот, что

мор дальше не пошел. Заграничная пресса жадно обсуждала неслыханный в истории падеж, а правительство советских республик, не поднимая никакого шума, работало не покладая рук. Чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой переименовалась в чрезвычайную комиссию по поднятию и возрождению куроводства в республике, пополнилась новой чрезвычайной тройкой в составе 16 товарищей. Был основан “Доброкур”, почетными товарищами председателя в который вошли Персиков и Португалов.

В газетах под их портретами появились заголовки: “Массовая закупка яиц за границей” и “Господин Юз хочет сорвать яичную компанию”. Прогремел на всю Москву ядовитый фельетон журналиста Колечкина, заканчивающийся словами: “Не зарьтесь, господин Юз, на наши яйца, - у вас есть свои!”

Профессор Персиков совершенно измучился и заработался в последние три недели. Куриные события выбили его из колеи и навалили на него двойную тяжесть. Целыми вечерами ему приходилось работать в заседании куриных комиссий и время от времени выносить длинные беседы, то с Альфредом Бронским, то с механическим толстяком. Пришлось вместе с профессором Португаловым и приват-доцентом Ивановым и Борнгартом анатомировать и микроскопировать кур в поисках бациллы чумы, и даже в течении трех вечеров на скорую руку написать брошюру: “Об изменениях печени у кур при чуме”.

Работал Персиков без особого жара в куриной области, да оно и понятно, - вся его голова была полна другим - основным и важным - тем, от чего его оторвала куриная катастрофа, то есть от красного луча. Расстраивая здоровье, урывая часы у сна и еды, порою не возвращаясь на Пречистенку, а засыпая на клеенчатом диване в кабинете института, Персиков ночи напролет возился у камеры и микроскопа.

К концу июля гонка несколько стихла. Дела переименованной компании вошли в нормальное русло и Персиков вернулся к нарушенной работе. Микроскопы были заряжены новыми препаратами, в камере под лучом зрела со сказочной быстротой рыбья и лягушачья икра. Из Кенигсберга на аэроплане привезли специально заказанные стекла и в последних числах июля, под наблюдением Иванова, механики соорудили две новых больших камеры, в которых луч достигал у основания ширины папиросной коробки,

а в раструбе - целого метра. Персиков радостно потер руки и начал готовиться к каким-то таинственным и сложным опытам. Прежде всего, он по телефону сговорился с народным комиссаром просвещения, и трубка наквакала ему самое любезное и всяческое содействие, а затем Персиков по телефону же вызвал товарища Птаху-Поросюка, заведующего отделом животноводства при верховной комиссии. Встретил Персиков со стороны Птахи самое теплое внимание. Дело шло о большом заказе за границей для профессора Персикова. Птаха сказал в телефон, что он тотчас телеграфирует в Берлин и Нью-Йорк. После этого из Кремля осведомились, как у Персикова идут дела и важный ласковый голос спросил, не нужен ли Персикову автомобиль?

- Нет, благодарю вас. Я предпочитаю ездить в трамвае, - ответил Персиков.

- Но почему же? - спросил таинственный голос и снисходительно усмехнулся.

С Персиковым все вообще разговаривали или с почтением и ужасом, или же ласково усмехаясь, как маленькому, хоть и крупному ребенку.

- Он быстрее ходит, - ответил Персиков, после чего звучный басок в телефон ответил:

- Ну, как хотите.

Прошла еще неделя, причем Персиков, все более отдаляясь от затихающих куриных вопросов, всецело погрузился в изучение луча. Голова его от бессонных ночей и переутомления стала светла, как бы прозрачна и легка. Красные кольца не сходили теперь с его глаз, и почти всякую ночь Персиков ночевал в институте… Один раз он покинул зоологическое прибежище, чтобы в громадном зале Цекубу на Пречистенке сделать доклад о своем луче и о действии его на яйцеклетку. Это был гигантский триумф зоолога-чудака. В колонном зале от всплеска рук что-то сыпалось и рушилось с потолков и шипящие дуговые трубки заливали светом черные смокинги цекубистов и белые платья женщин. На эстраде, рядом с кафедрой, сидела на стеклянном столе, тяжко дыша и серея, на блюде, влажная лягушка величиною с кошку. На эстраду бросали записки. В числе их было семь любовных, и их Персиков разорвал. Его

силой вытаскивал на эстраду представитель Цекубу, чтобы кланяться. Персиков кланялся раздраженно, руки у него были потные, мокрые и черный галстук сидел не под подбородком, а за левым ухом. Перед ним в дыхании и в тумане были сотни желтых лиц и мужских белых грудей, и вдруг желтая кобура пистолета мелькнула и пропала где-то за белой колонной. Персиков ее смутно заметил и забыл. Но уезжая после доклада, спускаясь по малиновому ковру лестницы, он вдруг почувствовал себя нехорошо. На миг заслонило черным яркую люстру в вестибюле и Персикову стало смутно, тошновато… Ему почудилась гарь, показалось, что кровь течет у него липко и жарко по шее… И дрожащею рукой схватился профессор за перила.

- Вам нехорошо, Владимир Ипатьевич? - набросились со всех сторон встревоженные голоса.

- Нет, нет, - ответил Персиков, оправляясь, - я просто переутомился… да… Позвольте мне стакан воды.

Был очень солнечный августовский день. Он мешал профессору, поэтому шторы были опущены. Один гибкий на ножке рефлектор бросал пучок острого света на стеклянный стол, заваленный инструментами и стеклами. Отвалив спинку винтящегося кресла, Персиков в изнеможении курил и сквозь полосы дыма смотрел мертвыми от усталости, но довольными глазами в приоткрытую дверь камеры, где, чуть подогревая и без того душный и нечистый воздух в кабинете, тихо лежал красный сноп луча.

В дверь постучали.

- Ну? - спросил Персиков.

Дверь мягко скрипнула и вошел Панкрат. Он сложил руки по швам, и бледнея от страха перед Божеством, сказал так:

- Там до вас, господин профессор, Рокк пришел.

Подобие улыбки показалось на щеках ученого. Он сузил глазки и молвил:

- Это интересно. Только я занят.

- Они говорять, что с казенной бумагой с Кремля.

- Рок с бумагой? Редкое сочетание, - вымолвил Персиков и добавил, - ну-ка, давай его сюда!

- Слушаю-с, - ответил Панкрат и как уж исчез за дверью.

Через минуту она скрипнула опять и появился на пороге человек. Персиков скрипнул на винте и уставился в пришедшего поверх очков через плечо. Персиков был слишком далек от жизни он ею не интересовался, но тут даже Персикову бросилась в глаза основная и главная черта вошедшего человека. Он был страшно старомоден. В 1919 году этот человек был бы совершенно уместен на улицах столицы, он бы был терпим в 1924 году, в начале его, но в 1928 году он был странен. В то время, как наиболее даже отставшая часть пролетариата - пекаря ходили в пиджаках, когда в Москве редкостью был френч - старомодный костюм, оставленный окончательно в конце 1924 года, на вошедшем была кожаная двубортная куртка, зеленые штаны, на ногах обмотки и штиблеты, а на боку огромный старой конструкции пистолет “маузер” в желтой кобуре. Лицо вошедшего произвело на Персикова то же впечатление, что и на весь мир изумленно и в то же время уверенно, что то развязанное было в коротких ногах с плоскими ступнями. Лицо иссиня-бритое. Персиков сразу нахмурился. Он безжалостно похрипел винтом и, глядя на вошедшего уже не поверх очков, а сквозь них, молвил:

- Вы с бумагой? Где же она?

Вошедший видимо был ошеломлен тем, что увидел. Вообще он был мало способен смущаться, но тут смутился. Судя по глазкам, его поразил прежде всего шкап в 12 полок, уходивший в потолок и битком набитый книгами. Затем, конечно, камеры, в которых, как в аду, мерцал малиновый, разбухший в стеклах луч. И сам Персиков в полутьме у острой иглы луча, выпадавшего из рефлектора, был достаточно странен и величественен в винтовом кресле. Пришелец вперил в него взгляд, в котором явственно прыгали искры почтения сквозь самоуверенность, никакой бумаги не подал, а сказал:

- Я Александр Семенович Рокк!

- Ну-с? Так что?

- Я назначен заведующим показательным совхозом “Красный Луч”, - пояснил пришлый.

- Ну-с?

- И вот к вам, с секретным отношением.

- Интересно было бы узнать, покороче, если можно.

От слова “товарищ” Персиков настолько отвык, что сейчас оно резануло ему ухо. Он явно раздражился.

Пришелец расстегнул борт куртки и высунул приказ, напечатанный на великолепной плотной бумаге. Его он протянул Персикову. А затем без приглашения сел на винтящийся табурет.

- Не толкните стол, - с ненавистью сказал Персиков.

Пришелец испуганно оглянулся на стол, на дальнем краю которого в сыром темном отверстии мерцали безжизненно, как изумруды, чьи-то глаза. Холодом веяло от них.

Лишь только Персиков прочитал бумагу, он поднялся с табурета и бросился к телефону. Через несколько секунд он уже говорил торопливо и в крайней степени раздражения:

- Простите… Я не могу понять… Как же так? Я… без моего согласия, совета… Да, ведь, он черт знает что наделает!!

Тут незнакомец повернулся крайне обиженно на табурете.

- Извиняюсь, - начал он, - я завед…

Но Персиков махнул на него крючочком и продолжал:

- Извините, я не могу понять… Я, наконец, категорически протестую. Я не даю своей санкции на опыты с яйцами… Пока я сам не попробую их…

Что-то квакало и постукивало в трубке, и даже издали было понятно, что

голос в трубке, снисходительный, говорит с малым ребенком. Кончилось тем, что багровый Персиков с громом повесил трубку и мимо нее в стену сказал:

- Я умываю руки.

Он вернулся к столу, взял с него бумагу, прочитал ее раз сверху вниз поверх очков, затем снизу вверх сквозь очки, и вдруг взвыл:

- Панкрат!

Панкрат появился в дверях, как-будто поднялся по трапу в опере. Персиков глянул на него и рявкнул:

- Выйди вон, Панкрат!

И Панкрат, не выразив на своем лице ни малейшего изумления, исчез.

Затем Персиков повернулся к пришельцу и заговорил:

- Извольте-с… Повинуюсь. Не мое дело. Да мне и неинтересно.

Пришельца профессор не столько обидел, сколько изумил.

- Извиняюсь, - начал он, - вы же, товарищ?…

- Что вы все товарищ да товарищ… - хмуро пробубнил Персиков и смолк.

”Однако”, - написалось на лице у Рокка.

- Изви…

- Так вот-с, пожалуйста, - перебил Персиков, - вот дуговой шар. От него вы получаете путем передвижения окуляра, - Персиков щелкнул крышкой камеры, похожей на фотографический аппарат, пучок, который вы можете собрать путем передвижения объективов, вот N_1… и зеркало N_2, - Персиков погасил луч, опять зажег его на полу асбестовой камеры, - а на полу в луче можете разложить все, что вам нравится, и делать опыты. Чрезвычайно просто, не правда ли?

Персиков хотел выразить иронию и презрение, но пришелец их не заметил, внимательно блестящими глазками всматриваясь в камеру.

- Только предупреждаю, - продолжал Персиков, - руки не следует совать в луч, потому что по моим наблюдениям он вызывает разрастание эпителия… а злокачественны они или нет, я, к сожалению, еще не мог установить.

Тут пришелец проворно спрятал свои руки за спину, уронив кожаный картуз, и поглядел на профессора. Его руки были насквозь прожжены йодом, а правая у кисти забинтована.

- А как вы, профессор?

- Можете купить резиновые перчатки у Швабе на Кузнецком, - раздраженно ответил профессор. - Я не обязан об этом заботиться.

Тут Персиков посмотрел на пришельца словно в лупу.

- Откуда вы взялись? Вообще… почему вы?..

Рокк, наконец, обиделся сильно.

- Извини…

- Ведь, нужно же знать, в чем дело!.. Почему вы уцепились за этот луч?..

- Потому, что это государственной важности дело…

- Ага. Государственной? Тогда… Панкрат!

И когда Панкрат появился:

- Погоди, я подумаю.

И Панкрат покорно исчез.

- Я, - говорил Персиков, - не могу понять вот чего: почему нужна такая спешность и секрет?

- Вы, профессор, меня уже сбили с панталыку, - ответил Рокк, вы же

знаете, что куры издохли все до единой.

- Ну так что же из этого? - завопил Персиков, - что же вы хотите их воскресить моментально, что ли? И почему при помощи еще неизученного луча?

- Товарищ профессор, - ответил Рокк, - вы меня, честное слово, сбиваете. Я вам говорю, что нам необходимо возобновить у себя куроводство, потому что за границей пишут про нас всякие гадости. Да.

- И пусть себе пишут…

- Ну, знаете, - загадочно ответил Рокк и покрутил головой.

- Кому, желал бы я знать, пришла в голову мысль растить кур из яиц.

- Мне, - ответил Рокк…

- Угу… Тэк-с… А почему, позвольте узнать? Откуда вы узнали о свойствах луча?

- Я, профессор, был на вашем докладе.

- Я с яйцами еще не делал!.. Только собираюсь!

- Ей-Богу, выйдет, - убедительно вдруг и задушевно сказал Рокк, - ваш луч такой знаменитый, что хоть слонов можно вырастить, не только цыплят.

- Знаете что, - молвил Персиков, - вы не зоолог? нет? жаль… из вас вышел бы очень смелый экспериментатор. Да… только вы рискуете… получить неудачу… и только у меня отнимаете время…

- Мы вам вернем камеры. Что значит?

- Когда?

- Да, вот, я выведу первую партию.

- Как вы это уверенно говорите! Хорошо-с. Панкрат!

- У меня есть с собой люди, - сказал Рокк, - и охрана…

К вечеру кабинет Персикова осиротел… Опустели столы… Люди Рокка увезли три большие камеры, оставив профессору только первую, его маленькую, с которой он начинал опыты.

Надвигались августовские сумерки, серость овладела институтом, потекла по коридорам. В кабинете слышались монотонные шаги - это Персиков, не зажигая огня, мерил большую комнату от окна к дверям… Странное дело: в этот вечер необъяснимо тоскливое настроение овладело людьми, населяющими институт, и животными. Жабы почему-то подняли особенно тоскливый концерт и стрекотали зловеще и предостерегающе. Панкрату пришлось ловить в коридорах ужа, который ушел из своей камеры, и когда он его поймал, вид у ужа был такой, словно тот собирался куда глаза глядят, лишь бы только уйти.

В глубоких сумерках прозвучал звонок из кабинета Персикова. Панкрат появился на пороге. И увидал странную картину. Ученый стоял одиноко посреди кабинета и глядел на столы. Панкрат кашлянул и замер.

- Вот, Панкрат, - сказал Персиков и указал на опустевший стол.

Панкрат ужаснулся. Ему показалось, что глаза у профессора в сумерках заплаканы. Это было так необыкновенно. Так страшно.

- Так точно, - плаксиво ответил Панкрат и подумал: “Лучше б ты уж наорал на меня!”

- Вот, - повторил Персиков и губы у него дрогнули точно так же как у ребенка, у которого отняли ни с того, ни с сего любимую игрушку.

- Ты знаешь, дорогой Панкрат, - продолжал Персиков, отворачиваясь к окну, - жена - то моя, которая уехала пятнадцать лет назад, в оперетку она поступила, а теперь умерла оказывается… Вот история, Панкрат милый… Мне письмо прислали…

Жабы кричали жалобно и сумерки одевали профессора, вот она… ночь. Москва… где-то какие-то белые шары за окнами загорались… Панкрат, растерявшись, тосковал, держа от страха руки по швам…

- Иди, Панкрат, - тяжело вымолвил профессор и махнул рукой, ложись спать, миленький, голубчик, Панкрат.

И наступила ночь. Панкрат выбежал из кабинета почему-то на цыпочках, пробежал в свою каморку, разрыл тряпье в углу, вытащил из-под него початую бутылку русской горькой и разом выхлюпнул около чайного стакана. Закусил хлебом с солью, и глаза его несколько повеселели.

Поздним вечером, уже ближе к полуночи, Панкрат, сидя босиком на скамье в скупо освещенном вестибюле, говорил бессонному дежурному котелку, почесывая грудь под ситцевой рубахой.

- Лучше б убил, ей-Бо…

- Неужто плакал? - с любопытством спрашивал котелок.

- Ей… Бо… - уверял Панкрат.

- Великий ученый, - согласился котелок, - известно, лягушка жены не заменит.

- Никак, - согласился Панкрат.

Потом он подумал и добавил:

- Я свою бабу подумываю выписать сюды… чего ей в самом деле в деревне сидеть. Только она гадов этих не выносит нипочем…

- Что говорить, пакость ужаснейшая, - согласился котелок.

Из кабинета ученого неслышно было ни звука. Да и света в нем не было. Не было полоски под дверью.

8. ИСТОРИЯ В СОВХОЗЕ

Положительно нет прекраснее времени, нежели зрелый август в Смоленской хотя бы губернии. Лето 1928 года было, как известно,

отличнейшее, с дождями весной вовремя, с полным жарким солнцем, с отличным урожаем… Яблоки в бывшем имении Шереметевых зрели… леса зеленели, желтизной квадратов лежали поля… Человек-то лучше становится на лоне природы. И не так уж неприятен показался бы Александр Семенович, как в городе. Лицо его медленно загорело, ситцевая расстегнутая рубашка показывала грудь, поросшую густейшим черным волосом, на ногах были парусиновые штаны. И глаза его успокоились и подобрели.

Александр Семенович оживленно сбежал с крыльца с колоннадой, коей была прибита вывеска под звездой:

Совхоз “Красный луч”

и прямо к автомобилю-полугрузовичку, привезшему три черных камеры под охраной.

Весь день Александр Семенович хлопотал со своими помощниками, устанавливая камеры в бывшем зимнем саду - оранжерее Шереметевых… К вечеру все было готово. Под стеклянным потолком загорелся белый матовый шар, на кирпичах устанавливали камеры, и механик, приезжавший с камерами, пощелкав и повертев блестящие винты, зажег на асбестовом полу в черных ящиках красный таинственный луч.

Александр Семенович хлопотал, сам влезал на лестницу, проверяя провода.

На следующий день вернулся со станции тот же полугрузовичок и выплюнул три ящика, великолепной гладкой фанеры, кругом оклеенной ярлыками и белыми по черному надписями:

VORSICHT: EIER!!

ОСТОРОЖНО: ЯЙЦА!!

- Что же так мало прислали? - удивился Александр Семенович, однако

тотчас захлопотался и стал распаковывать яйца. Распаковывание происходило все в той же оранжерее и принимали в нем участие: сам Александр Семенович, его необыкновенной толщины жена, Маня, кривой бывший садовник бывших Шереметевых, а ныне служащий в совхозе на универсальной должности сторожа, охранитель, обреченный на житье в совхозе, и уборщица Дуня. Это не Москва, и все здесь носило более простой, семейный и дружественный характер. Александр Семенович распоряжался, любовно посматривая на ящики, выглядевшие таким солидным компактным подарком, под нежным закатным светом верхних стекол оранжереи. Охранитель, винтовка которого мирно дремала у дверей, клещами взламывал скрепы и металлические обшивки. Стоял треск… Сыпалась пыль. Александр Семенович, шлепая сандалями, суетился возле ящиков.

- Вы потише, пожалуйста, - говорил он охранителю. - Осторожнее. Что ж вы не видите - яйца?..

- Ничего, - хрипел уездный воин, буравя, - сейчас…

Тр-р-р… и сыпалась пыль…

Яйца оказались упакованными превосходно: под деревянной крышкой был слой парафиновой бумаги, затем промокательной, затем следовал плотный слой стружек, затем опилки и в них замелькали белые головки яиц.

- Заграничной упаковочки, - любовно говорил Александр Семенович, роясь в опилках, - это вам не то, что у нас. Маня, осторожнее, ты их побьешь.

- Ты, Александр Семенович, сдурел, - отвечала жена, - какое золото, подумаешь. Что я никогда яиц не видала? Ой… Какие большие!

- Заграница, - говорил Александр Семенович, выкладывая яйца на деревянный стол, - разве это наши мужицкие яйца… Все, вероятно, брамапутры, черт их возьми! немецкие…

- Известное дело, - подтвердил охранитель, любуясь яйцами.

- Только не понимаю, чего они грязные, - говорил задумчиво Александр

Семенович… Маня, ты присматривай. Пускай дальше выгружают, а я иду на телефон.

И Александр Семенович отправился на телефон в контору совхоза через двор.

Вечером в кабинете зоологического института затрещал телефон. Профессор Персиков взъерошил волосы и подошел к аппарату.

- Ну? - спросил он.

- С вами сейчас будет говорить провинция, - тихо с шипением отозвалась трубка женским голосом.

- Ну. Слушаю, - брезгливо спросил Персиков в черный рот телефона… В том что-то щелкало, а затем дальний мужской голос сказал в ухо встревоженно:

- Мыть ли яйца, профессор?

- Что такое? Что? Что вы спрашиваете? - раздражился Персиков, - откуда это говорят?

- Из Никольского, Смоленской губернии, - ответила трубка.

- Ничего не понимаю. Никакого Никольского не знаю. Кто это?

- Рокк, - сурово ответила трубка

- Какой Рокк? Ах, да… это вы… так что вы спрашиваете?

- Мыть ли их?.. прислали из-за границы мне партию куриных яиц…

- Ну?

- …А они в грязюке какой-то…

- Что-то вы путаете… Как они могут быть в “грязюке”, как вы выражаетесь? Ну, конечно, может быть немного… помет присох… или что-нибудь еще…

- Так не мыть?

- Конечно, не нужно… Вы, что, хотите уже заряжать яйцами камеры?

- Заряжаю. Да. - Ответила трубка.

- Гм, - хмыкнул Персиков.

- Пока, - цокнула трубка и стихла.

- “Пока”, - с ненавистью повторил Персиков приват-доценту Иванову, - как вам нравится этот тип, Петр Степанович?

- Это он? Воображаю, что он напечет из этих яиц.

- Д… д… д… - заговорил Персиков злобно, - вы вообразите, Петр Степанович… ну, прекрасно… очень возможно, что на дейтероплазму куриного яйца луч окажет такое же действие, как и на плазму голых. Очень возможно, что куры у него вылупятся. Но, ведь, ни вы, ни я не можем сказать, какие это куры будут… может быть, они ни к черту негодные куры. Может быть, они подохнут через два дня. Может быть, их есть нельзя! А разве я поручусь, что они будут стоять на ногах. Может быть, у них кости ломкие. - Персиков вошел в азарт и махал ладонью и загибал пальцы.

- Совершенно верно, - согласился Иванов.

- Вы можете поручиться, Петр Степанович, что они дадут поколение? Может быть этот тип выведет стерильных кур. Догонит их до величины собаки, а потомства от них жди потом до второго пришествия.

- Нельзя поручиться, - согласился Иванов.

- И какая развязность, - расстраивал сам себя Персиков, бойкость какая-то! И, ведь, заметьте, что этого прохвоста мне же поручили инструктировать. - Персиков указал на бумагу, доставленную Рокком (она валялась на экспериментальном столе) - …а как я его буду, этого невежду, инструктировать, когда я сам по этому вопросу ничего сказать не могу.

- А отказаться нельзя было? - спросил Иванов.

Персиков побагровел, взял бумагу и показал ее Иванову. Тот прочел ее и иронически усмехнулся.

- М-да… - сказал он многозначительно.

- И, ведь, заметьте… Я своего заказа жду два месяца и о нем ни слуху, ни духу. А этому моментально и яйца прислали и вообще всяческое содействие…

- Ни черта у него не выйдет, Владимир Ипатьевич. И просто кончится тем, что вернут нам камеры.

- Да, если бы скорее, а то ведь они же мои опыты задерживают.

- Да вот это скверно. У меня все готово.

- Вы скафандры получили?

- Да, сегодня утром.

Персиков несколько успокоился и оживился.

- Угу… я думаю, мы так сделаем. Двери операционной можно будет наглухо закрыть, а окно мы откроем…

- Конечно, - согласился Иванов.

- Три шлема?

- Три. Да.

- Ну вот-с… Вы, стало быть, я и кого-нибудь из студентов можно назвать. Дадим ему третий шлем.

- Гринмута можно.

- Это который у вас сейчас с саламандрами работает?.. Гм… он ничего… хотя, позвольте, весной он не мог сказать, как устроен плавательный пузырь у голозубых, - злопамятно добавил Персиков.

- Нет, он ничего… Он хороший студент, - заступился Иванов.

- Придется уж не поспать одну ночь, - продолжал Персиков, только вот что, Петр Степанович, вы проверьте газ, а то черт их знает, эти доброхимы ихние. Пришлют какую-нибудь гадость.

- Нет, нет, - и Иванов замахал руками, - вчера я уж пробовал. Нужно отдать им справедливость, Владимир Ипатьевич, превосходный газ.

- Вы на ком пробовали?

- На обыкновенных жабах. Пустишь струйку - мгновенно умирает. Да, Владимир Ипатьевич, мы еще так сделаем. Вы напишете отношение в Гепеу, чтобы вам прислали электрический револьвер.

- Да я не умею с ним обращаться…

- Я на себя беру, - ответил Иванов, - мы на Клязьме из него стреляли, шутки ради… там один гепеур со мной жил… Замечательная штука. И просто чрезвычайно… Бьет бесшумно, шагов на сто и наповал. Мы в ворон стреляли… по-моему, даже и газа не нужно.

- Гм… это остроумная идея… очень. - Персиков пошел в угол, взял трубку и квакнул: - Дайте-ка мне эту, как ее… Лубянку…

Дни стояли жаркие до чрезвычайности. Над полями было ясно видно, как переливается прозрачный, жирный зной. А ночи чудные, обманчивые, зеленые. Луна светила и такую красоту навела на бывшее именье Шереметевых, что ее невозможно выразить. Дворец-совхоз, словно сахарный, светился, в парке тени дрожали, а пруды стали двухцветными пополам - косяком лунный столб, а половина бездонная тьма. В пятнах луны можно было свободно читать “Известия”, за исключением шахматного отдела, набранного мелкой нонпарелью. Но в такие ночи никто “Известия”, понятное дело, не читал… Дуня, уборщица, оказалась в роще за совхозом и там же оказался, вследствие совпадения, рыжеусый шофер потрепанного совхозовского грузовичка. Что они там делали - неизвестно. Приютились они в непрочной тени вяза, прямо на разостланном пальто шофера. В кухне горела лампочка, там ужинали два огородника, а мадам Рокк в белом капоте сидела на колонной веранде и мечтала, глядя на красавицу - луну.

В 10 часов вечера, когда замолкли звуки в деревне Концовке, расположенной за совхозом, идиллический пейзаж огласился прелестными нежными звуками флейты. Выразить немыслимо, до чего они были уместны над рощами и бывшими колоннами Шереметевского дворца. Хрупкая Лиза из “Пиковой дамы” смешала в дуэте свой голос с голосом страстной Полины и унеслась в лунную высь, как видение старого и все-таки бесконечно милого, до слез очаровывающего режима.

Угасают… Угасают… -

свистала, переливая и вздыхая, флейта.

Замерли рощи и Дуня, гибельная, как лесная русалка, слушала, приложив щеку к жесткой, рыжей и мужественной щеке шофера.

- А хорошо дудит, сукин сын, - сказал шофер, обнимая Дуню за талию мужественной рукой.

Играл на флейте сам заведующий совхозом Александр Семенович Рокк, и играл, нужно отдать ему справедливость, превосходно. Дело в том, что некогда флейта была специальностью Александра Семеновича. Вплоть до 1917 года он служил в известном концертном ансамбле маэстро Петухова, ежевечерне играющем и оглашающим стройными звуками фойе уютного кинематографа “Волшебные грезы” в городе Одессе. Но великий 1917 год, переломивший карьеру многих людей, и Александра Семеновича повел по новым путям. Он покинул “Волшебные грезы” и пыльный звездный сатин в фойе и бросился в открытое море войны и революции, сменив флейту на губительный маузер. Его долго швыряло по волнам, неоднократно выплескивая то в Крыму, то в Москве, то в Туркестане, то даже во Владивостоке. Нужна была именно революция, чтобы вполне выявить Александра Семеновича. Выяснилось, что этот человек положительно велик, и, конечно, не в фойе “Грез” ему сидеть. Не вдаваясь в долгие подробности, скажем, что последний 1927 и начало 1928-го года застали Александра Семеновича в Туркестане, где он, во-первых, редактировал огромную газету, а затем, как местный член высшей хозяйственной комиссии, прославился своими изумительными работами по орошению

Туркестанского края. В 1928 году Рокк прибыл в Москву и получил вполне заслуженный отдых. Высшая комиссия той организации, билет которой с честью носил в кармане провинциально-старомодный человек, сменила его и назначила ему должность спокойную и почетную. Увы! Увы! На горе республике кипучий мозг Александра Семеновича не потух, в Москве Рокк столкнулся с изобретением Персикова и в номерах на Тверской “Красный Париж” родилась у Александра Семеновича идея, как при помощи луча Персикова возродить в течение месяца кур в республике. Кремль принял Александра Семеновича, Кремль согласился с ним, и Рокк пришел с плотной бумагой к чудаку зоологу.

Концерт над стеклянными водами и рощами и парком уже шел к концу, как вдруг произошло нечто, которое прервало его раньше времени. Именно в Концовке собаки, которым по времени уже следовало бы спать, подняли вдруг невыносимый лай, который посте пенно перешел в общий мучительный вой. Вой, разрастаясь, полетел по полям и вою вдруг ответил трескучий в миллион голосов концерт лягушек на прудах. Все это было так жутко, что показалось даже на мгновенье, будто померкла таинственная колдовская ночь.

Александр Семенович оставил флейту и вышел на веранду.

- Маня, ты слышишь!? Вот проклятые собаки… Чего они, как ты думаешь, расбесились?

- Откуда я знаю? - ответила Маня, глядя на луну.

- Знаешь, Манечка, пойдем посмотрим на яички, - предложил Александр Семенович.

- Ей-Богу, Александр Семенович, ты совсем помешался со своими яйцами и курами. Отдохни ты немножко!

- Нет, Манечка, пойдем.

В оранжерее горел яркий шар. Пришла и Дуня с горящим лицом и блестящими глазами. Александр Семенович нежно открыл контрольные стекла и все стали поглядывать внутрь камер. На белом асбестовом полу лежали правильными рядами испещренные пятнами ярко-красные яйца, в камерах было беззвучно… а шар вверху в 15 000 свечей тихо шипел.

- Эх, выведу я цыпляток! - с энтузиазмом говорил Александр Семенович, заглядывая то с боку в контрольные прорези, то сверху, через широкие вентиляционные отверстия, - вот увидите… Что? Не выведу?

- А вы знаете, Александр Семенович, - сказала Дуня, улыбаясь, - мужики в Концовке говорили, что вы антихрист. Говорят, что ваши яйца дьявольские. Грех машиной выводить. Убить вас хотели.

Александр Семенович вздрогнул и повернулся к жене. Лицо его пожелтело.

- Ну, что вы скажете? Вот народ! Ну что вы сделаете с таким народом? А? Манечка, надо будет им собрание сделать… Завтра вызову из уезда работников. Я им сам скажу речь. Надо будет вообще тут поработать… А то это медвежий какой-то угол…

- Темнота, - молвил охранитель, расположившийся на своей шинели у двери оранжереи.

Следующий день ознаменовался страннейшими и необъяснимыми происшествиями. Утром, при первом же блеске солнца, рощи, которые приветствовали обычно светило неумолчным и мощным стрекотанием птиц, встретили его полным безмолвием. Это было замечено решительно всеми. Словно перед грозой. Но никакой грозы и в помине не было. Разговоры в совхозе приняли странный и двусмысленный для Александра Семеновича оттенок и в особенности потому, что со слов дяди, по прозвищу Козий Зоб, известного смутьяна и мудреца из Концовки, стало известно, что, якобы, все птицы собрались в косяки и на рассвете убрались куда-то из Шереметева вон, на север, что было просто глупо. Александр Семенович очень расстроился и целый день потратил на то, чтобы созвониться с комитетом в Грачевке. Оттуда обещали Александру Семеновичу прислать дня через два ораторов на две темы - международное положение и вопрос о Доброкуре.

Вечер тоже был не без сюрпризов. Если утром умолкли рощи, показав вполне ясно, как подозрительно - неприятна тишина деревьев, если в полдень убрались куда-то воробьи с совхозного двора, то к вечеру умолк пруд в Шереметевке. Это было поистине изумительно, ибо всем в окрестностях на сорок верст было превосходно известно знаменитое

стрекотание шереметевских лягушек. А теперь они словно вымерли. С пруда не доносилось ни одного голоса и беззвучно стояла осока. Нужно признаться, что Александр Семенович окончательно расстроился. Об этих происшествиях начали толковать и толковали самым неприятным образом, то есть за спиной Александра Семеновича.

- Действительно, это странно, - сказал за обедом Александр Семенович жене, - я не могу понять, зачем этим птицам понадобилось улетать?

- Откуда я знаю? - ответила Маня. - Может быть от твоего луча?

- Ну ты, Маня, обыкновеннейшая дура, - ответил Александр Семенович, бросив ложку, - ты - как мужики. При чем здесь луч?

- А я не знаю. Оставь меня в покое.

Вечером произошел третий сюрприз - опять взвыли собаки в Концовке, и ведь как! Над лунными полями стоял непрерывный стон, злобные тоскливые стенания.

Вознаградил себя Александр Семенович еще сюрпризом, но уже приятным, а именно в оранжерее. В камерах начал слышаться беспрерывный стук в красных яйцах. Токи… токи… токи… токи… стучало то в одном, то в другом, то в третьем яйце.

Стук в яйцах был триумфальным стуком для Александра Семеновича. Тотчас были забыты странные происшествия в роще и на пруде. Сошлись все в оранжерее: и Маня, и Дуня, и сторож, и охранитель, оставивший винтовку у двери.

- Ну, что? Что вы скажете? - победоносно спрашивал Александр Семенович. Все с любопытством наклоняли уши к дверцам первой камеры, - это они клювами стучат, цыплятки, - продолжал сияя Александр Семенович. - Не выведу цыпляток, скажете? Нет, дорогие мои, - и от избытка чувств он похлопал охранителя по плечу. Выведу таких, что вы ахнете. Теперь мне в оба смотреть, строго добавил он. - Чуть только начнут вылупляться, сейчас же мне дать знать.

- Хорошо, - хором ответили сторож, Дуня и охранитель.

Таки… таки… таки… закипало то в одном, то в другом яйце первой камеры. Действительно, картина на глазах нарождающейся новой жизни в тонкой отсвечивающей кожуре была настолько интересна, что все общество еще долго просидело на опрокинутых ящиках, глядя как в загадочном мерцающем свете созревали малиновые яйца. Разошлись спать довольно поздно, когда над совхозом и окрестностями разлилась зеленоватая ночь. Была она загадочна и даже, можно сказать, страшна, вероятно потому, что нарушал ее полное молчание то и дело начинающийся беспричинный тоскливейший и ноющий вой собак в Концовке. Чего бесились проклятые псы - совершенно неизвестно.

На утро Александра Семеновича ожидала неприятность. Охранитель был крайне сконфужен, руки прикладывал к сердцу, клялся и божился, что не спал, но ничего не заметил.

- Непонятное дело, - уверял охранитель, - я тут ни при чем, товарищ Рокк.

- Спасибо вам, и от души благодарен, - распекал его Александр Семенович, - что вы товарищ думаете? Зачем вас поставили? Смотреть. Так вы мне и скажите, куда они делись? Ведь, вылупились они? Значит, удрали. Значит вы дверь оставили открытой да и ушли сами. Чтоб были мне цыплята!

- Некуда мне ходить. Что я своего дела не знаю, - обиделся наконец воин, - что вы меня попрекаете даром, товарищ Рокк.

- Куды ж они подевались?

- Да я почем знаю, - взбесился наконец воин, - что я их укараулю разве? Я зачем поставлен. Смотреть, чтобы камеры никто не упер, я и исполняю свою должность. Вот вам камеры. А ловить ваших цыплят я не обязан по закону. Кто его знает, какие у вас цыплята вылупятся, может, их на велосипеде не догонишь!

Александр Семенович несколько осекся, пробурчал еще что-то и впал в состояние изумления. Дело-то на самом деле было странное. В первой камере, которую зарядили раньше всех, два яйца, помещающиеся у самого основания луча, оказались взломанными. И одно из них даже откатилось в сторону. Скорлупа валялась на асбестовом полу, в луче.

- Черт их знает, - бормотал Александр Семенович, - окна заперты, не через крышу же они улетели!

Он задрал голову и посмотрел туда, где в стеклянном переплете крыши было несколько широких дыр.

- Что вы, Александр Семенович, - крайне удивилась Дуня, - станут вам цыплята летать. Они тут где-нибудь… цып… цып… цып… - начала она кричать и заглядывать в углы оранжереи, где стояли пыльные цветочные вазоны, какие-то доски и хлам. Но никакие цыплята нигде не отзывались.

Весь состав служащих часа два бегал по двору совхоза, разыскивая проворных цыплят, и нигде ничего не нашел. День прошел крайне возбужденно. Караул камер был увеличен еще сторожем и был дан строжайший приказ, каждые четверть часа заглядывать в окна камер, и чуть что, звать Александра Семеновича. Охранитель сидел насупившись у дверей, держа винтовку между колен. Александр Семенович совершенно захлопотался и только во втором часу пообедал. После обеда он поспал часок в прохладной тени на бывшей оттоманке Шереметева, напился совхозовского сухарного кваса, сходил в оранжерею и убедился, что теперь там все в полном порядке. Старик сторож лежал животом на рогоже и, мигая, смотрел в контрольное стекло первой камеры. Охранитель бодрствовал, не уходя от дверей.

Но были и новости: яйца в третьей камере, заряженные позже всех, начали как-то причмокивать и цокать, как-будто внутри них кто-то всхлипывал.

- Ух, зреют, - сказал Александр Семенович, - вот это зреют, теперь вижу. Видал? - отнесся он к сторожу…

- Да, дело замечательное, - ответил тот, качая головой и совершенно двусмысленным тоном.

Александр Семенович посидел немного у камер, но при нем никто не вылупился, он поднялся с корточек, размялся и заявил, что из усадьбы никуда не уходит, а только пойдет на пруд выкупаться и, чтобы его, в случае чего, немедленно вызвали. Он сбегал во дворец в спальню, где стояли две узких пружинных кровати со скомканным бельем, и на полу была навалена груда зеленых яблок и горы проса, приготовленного для

будущих выводков, вооружился мохнатым полотенцем, а подумав, захватил с собой флейту, с тем, чтобы на досуге поиграть над водной гладью. Он бодро выбежал из дворца, пересек двор совхоза и по ивовой аллейке направился к пруду. Бодро шел Рокк, помахивая полотенцем и держа флейту под мышкой. Небо изливало зной сквозь ивы и тело ныло и просилось в воду. На правой руке у Рокка началась заросль лопухов, в которую он проходя плюнул. И тотчас в глубине разлапистой путаницы послышалось шуршание, как будто кто-то поволок бревно. Почувствовав мимолетное неприятное сосание в сердце, Александр Семенович повернул голову к заросли и посмотрел с удивлением. Пруд уже два дня не отзывался никакими звуками. Шуршание смолкло, поверх лопухов мелькнула привлекательно гладь пруда и серая крыша купаленки. Несколько стрекоз мотнулись перед Александром Семеновичем. Он уже хотел повернуть к деревянным мосткам, как вдруг шорох в зелени повторился и к нему присоединилось короткое сипение, как будто высочилось масло из паровоза. Александр Семенович насторожился и стал всматриваться в глухую стену сорной заросли.

- Александр Семенович, - прозвучал в этот момент голос жены Рокка, и белая ее кофточка мелькнула, скрылась, но опять мелькнула в малиннике. - Подожди, я тоже пойду купаться.

Жена спешила к пруду, но Александр Семенович ничего ей не ответил, весь приковавшись к лопухам. Сероватое и оливковое бревно начало подниматься из их чащи, вырастая на глазах. Какие-то мокрые желтоватые пятна, как показалось Александру Семеновичу, усеивали бревно. Оно начало вытягиваться, изгибаясь и шевелясь, и вытянулось так высоко, что перегнало низенькую корявую иву… Затем верх бревна надломился, немного склонился и над Александром Семеновичем оказалось что-то напоминающее по высоте электрический московский столб. Но только это что-то было раза в три толще столба, и гораздо красивее его, благодаря чешуйчатой татуировке. Ничего еще не понимая, но уже холодея, Александр Семенович глянул на верх ужасного столба и сердце в нем на несколько секунд прекратило бой. Ему показалось, что мороз ударил внезапно в августовский день, а перед глазами стало так сумеречно, точно он глянул на солнце сквозь летние штаны.

На верхнем конце бревна оказалась голова. Она была сплющена, заострена и украшена желтым круглым пятном по оливковому фону.

Лишенные век, открытые ледяные и узкие глаза сидели в крыше головы и в глазах этих мерцала совершенно невиданная злоба. Голова сделала такое движение, словно клюнула воздух, весь столб вобрался в лопухи, и только одни глаза остались и, не мигая, смотрели на Александра Семеновича. Тот, покрытый липким потом, произнес четыре слова, совершенно невероятных и вызванных сводящим с ума страхом. Настолько уж хороши были эти глаза между листьями.

- Что это за шутки…

Затем ему вспомнилось, что факиры… да… да… Индия… плетеная корзинка и картинка… Заклинают.

Голова снова взвилась и стало выходить туловище. Александр Семенович поднес флейту к губам, хрипло пискнул и заиграл, ежесекундно задыхаясь, вальс из “Евгения Онегина”. Глаза в зелени тотчас же загорелись непримиримою ненавистью к этой опере.

- Что ты сдурел, что играешь на жаре? - послышался веселый голос Мани, и где-то краем глаза справа уловил Александр Семенович белое пятно.

Затем истошный визг пронзил весь совхоз, разросся и взлетел, а вальс запрыгал, как с перебитой ногой. Голова из зелени рванулась вперед, глаза ее покинули Александра Семеновича, отпустив его душу на покаяние. Змея приблизительно в пятнадцать аршин и толщиной в человека, как пружина выскочила из лопухов. Туча пыли брызнула с дороги и вальс кончился. Змея махнула мимо заведующего совхозом прямо туда, где была видна белая кофточка, на дороге, Рокк видел совершенно отчетливо: Маня стала желто-белой и ее длинные волосы как проволочные поднялись на полтора аршина над головой. Змея на глазах Рокка, раскрыв на мгновение пасть, из которой вынырнуло что-то похожее на вилку, ухватила зубами Маню, оседающую в пыль, за плечо, так что вздернула ее на аршин над землей. Тогда Маня повторила режущий предсмертный крик. Змея извернулась пятисаженным винтом, хвост ее взмел смерч, и стала Маню давить. Та больше не издала ни одного звука и только Рокк слышал, как лопались ее кости. Высоко над землей взметнулась голова Мани, нежно прижавшись к змеиной щеке. Изо рта у Мани плеснуло кровью, выскочила сломанная рука и из-под ногтей брызнули фонтанчики крови. Затем змея, вывихнув

челюсти, раскрыла пасть и разом надела свою голову на голову Мани и стала налезать на нее, как перчатка на палец. От змеи во все стороны было такое жаркое дыхание, что оно коснулось лица Рокка, а хвост чуть не смел его с дороги в едкой пыли. Вот тут-то Рокк и поседел. Сначала левая и потом правая половина его черной головы покрылась серебром. В смертной темноте он оторвался, наконец, от дороги, и, ничего и никого не видя, оглашая окрестности диким ревом, бросился бежать…

9. ЖИВАЯ КАША

Агент государственного политического управления на станции Дугино Щукин был очень храбрым человеком. Он задумчиво сказал своему товарищу, рыжему Полайтису:

- Ну, что ж, поедем. А? Давай мотоцикл, - потом помолчал и добавил, обращаясь к человеку, сидящему на лавке, - флейту-то положите.

Но седой трясущийся человек на лавке, в помещении дугинского ГПУ, флейты не положил, а заплакал и замычал. Тогда Щукин и Полайтис поняли, что флейту нужно вынуть. Пальцы присохли к ней. Щукин, отличавшийся огромной, почти цирковой силой, стал палец за пальцем отгибать и отогнул все. Тогда флейту положили на стол.

Это было ранним солнечным утром следующего за смертью Мани дня.

- Вы поедете с нами, - сказал Щукин, обращаясь к Александру Семеновичу, - покажете нам где и что.

Но Рокк в ужасе отстранился от него и руками закрылся, как от страшного видения.

- Нужно показать, - добавил сурово Полайтис.

- Нет, оставь его. Видишь, человек не в себе.

- Отправьте меня в Москву, - плача, попросил Александр Семенович.

- Вы разве совсем не вернетесь в совхоз?

Но Рокк вместо ответа опять заслонился руками и ужас потек из его глаз.

- Ну, ладно, - решил Щукин, - вы действительно не в силах… Я вижу. Сейчас курьерский пойдет, с ним и поезжайте.

Затем у Щукина с Полайтисом, пока сторож станционный отпаивал Александра Семеновича водой и тот лязгал зубами по синей выщербленной кружке, произошло совещание… Полайтис полагал, что вообще ничего не было, а просто-напросто Рокк душевно больной и у него была страшная галлюцинация. Щукин же склонялся к мысли, что из города Грачевки, где в настоящий момент гастролирует цирк, убежал удав-констриктор. Услыхав их сомневающийся шепот, Рокк привстал. Он несколько пришел в себя и сказал, простирая руки, как библейский пророк:

- Слушайте меня. Слушайте. Что же вы мне не верите? Она была. Где же моя жена?

Щукин стал молчалив и серьезен и немедленно дал в Грачевку какую-то телеграмму. Третий агент, по распоряжению Щукина, стал неотступно находиться при Александре Семеновиче и должен был сопровождать его в Москву. Щукин же с Полайтисом стали готовиться к экспедиции. У них был всего один электрический револьвер, но и это была уже хорошая защита. Пятидесяти зарядная модель 27-го года, гордость французской техники для близкого боя, била всего на сто шагов, но давала поле два метра в диаметре и в этом поле все живое убивала наповал. Промахнуться было очень трудно. Щукин надел блестящую электрическую игрушку, а Полайтис обыкновенный 25-зарядный поясной пулеметик, взял обоймы и на одном мотоцикле, по утренней росе и холодку, они по шоссе покатились к совхозу. Мотоцикл простучал двадцать верст, отделявших станцию от совхоза, в четверть часа (Рокк шел всю ночь, то и дело прячась, в припадках смертного часа, в придорожную траву), и когда солнце начало значительно припекать, на пригорке, под которым вилась речка Топь, глянул сахарный с колоннами дворец в зелени. Мертвая тишина стояла вокруг. У самого подъезда к совхозу агенты обогнали крестьянина на подводе. Тот плелся не спеша, нагруженный какими-то мешками, и вскоре остался позади. Мотоциклетка пробежала по мосту и Полайтис затрубил в рожок, чтобы вызвать кого-нибудь. Но никто нигде не отозвался, за

исключением отдаленных остервенившихся собак в Концовке. Мотоцикл, замедляя ход, подошел к воротам с позеленевшими львами. Запыленные агенты, в желтых гетрах, соскочили, прицепили цепью с замком к переплету решетки машину и вошли во двор. Тишина их поразила.

- Эй, кто тут есть! - крикнул Щукин громко.

Но никто не отозвался на его бас. Агенты обошли двор кругом, все более удивляясь. Полайтис нахмурился. Щукин стал посматривать серьезно, все более хмуря светлые брови. Заглянули через открытое окно в кухню и увидали, что там никого нет, но весь пол усеян белыми осколками посуды.

- Ты знаешь, что-то действительно случилось. Я теперь вижу. Катастрофа, - молвил Полайтис.

- Эй, кто там есть! Эй! - кричал Щукин, но ему отвечало только эхо под сводами кухни.

- Черт их знает! - ворчал Щукин. - Ведь не могла же она слопать их всех сразу. Или разбежались. Идем в дом.

Дверь во дворце с колонной верандой была открыта настежь и в нем было совершенно пусто. Агенты прошли даже в мезонин, стучали и открывали все двери, но ничего решительно не добились и, через вымершее крыльцо, вновь вышли во двор.

- Обойдем кругом. К оранжереям, - распорядился Щукин, - все обшарим, а там можно будет протелефонировать.

По кирпичной дорожке агенты пошли, минуя клумбы, на задний двор, пересекли его и увидали блестящие стекла оранжереи.

- Погоди-ка, - заметил шепотом Щукин и отстегнул с пояса револьвер. Полайтис насторожился и снял пулемет. Странный и очень зычный звук тянулся в оранжерее и где-то за нею. Похоже было, что где-то шипит паровоз. Зау-зау… зау-зау… с-с-с-с… - шипела оранжерея.

- А ну-ка, осторожно, - шепнул Щукин и, стараясь не стучать каблуками, агенты придвинулись к самым стеклам и заглянули в оранжерею.

Тотчас Полайтис откинулся назад и лицо его стало бледно. Щукин открыл рот и застыл с револьвером в руке.

Вся оранжерея жила как червивая каша. Свиваясь и развиваясь в клубки, шипя и разворачиваясь, шаря и качая головами, по полу оранжереи ползли огромные змеи. Битая скорлупа валялась на полу и хрустела под их телами. Вверху бледно горел огромной силы электрический шар и от него вся внутренность оранжереи освещалась странным кинематографическим светом. На полу торчали три темных, словно фотографических огромных ящика, два из них, сдвинутые и покосившиеся, потухли, а в третьем горело небольшое густо малиновое световое пятно. Змеи всех размеров ползли по проводам, поднимались по переплетам рам, вылезали через отверстия на крыше. На самом электрическом шаре висела совершенно черная, пятнистая змея в несколько аршин и голова ее качалась у шара, как маятник. Какие-то погремушки звякали в шипении, из оранжереи тянуло странным гнилостным, словно прудовым пахом. И еще смутно разглядели агенты кучи белых яиц, валяющихся в пыльных углах, и странную гигантскую голенастую птицу, лежащую неподвижно у камер, и труп человека в сером у двери, рядом с винтовкой.

- Назад, - крикнул Щукин и стал пятиться, левой рукой отдавливая Полайтиса и поднимая правою револьвер. Он успел выстрелить раз девять прошипев и выбросив около оранжереи зеленоватую молнию. Звук страшно усилился и в ответ на стрельбу Щукина вся оранжерея пришла в бешеное движение, и плоские головы замелькали во всех дырах. Гром тотчас же начал скакать по всему совхозу и играть отблесками на стенах. Чах-чах-чах-тах, - стрелял Полайтис, отступая задом. Странный четырехлапый шорох послышался за спиною и Полайтис вдруг страшно крикнул, падая навзничь. Существо на вывернутых лапах, коричнево-зеленого цвета, с громадной острой мордой, с гребенчатым хвостом, похожее на страшных размеров ящерицу, выкатилось из-за угла сарая, и, яростно перекусив ногу Полайтису, сбило его на землю.

- Помоги, - крикнул Полайтис, и тотчас левая рука его попала в пасть и хрустнула, правой рукой он, тщетно пытаясь поднять ее, повез револьвером по земле. Щукин обернулся и заметался. Раз он успел выстрелить, но сильно взял в сторону, потому что боялся убить товарища. Второй раз он выстрелил по направлению оранжереи, потому что оттуда среди небольших змеиных морд высунулась одна огромная, оливковая и

туловище выскочило прямо по направлению к нему. Этим выстрелом он гигантскую змею убил и опять, прыгая и вертясь, возле Полайтиса, полумертвого уже в пасти крокодила, выбирал место куда бы выстрелить, чтобы убить страшного гада, не тронув агента. Наконец, это ему удалось. Из электроревольвера хлопнуло два раза, осветив все вокруг зеленоватым светом, и крокодил, прыгнув, вытянулся, окоченел, и выпустил Полайтиса. Кровь у него текла из рукава, текла изо рта, и он, припадая на правую здоровую руку, тянул переломленную левую ногу. Глаза его угасали.

- Щукин… беги, - промычал он, всхлипывая.

Щукин выстрелил несколько раз по направлению оранжереи и в ней вылетело несколько стекол. Но огромная пружина, оливковая и гибкая, сзади, выскочив из подвального окна, перескользнула двор, заняв его весь пятисаженным телом, и во мгновение обвила ноги Щукина. Его швырнуло вниз на землю и блестящий револьвер отпрыгнул в сторону. Щукин крикнул мощно, потом задохся, потом кольца скрыли его совершенно, кроме головы. Кольцо прошло раз по голове, сдирая с нее скальп, и голова эта треснула. Больше в совхозе не послышалось ни одного выстрела. Все погасил шипящий, покрывающий звук. И в ответ ему очень далеко по ветру донесся из Концовки вой, но теперь уже нельзя было разобрать чей это вой, собачий или человечий.

10. КАТАСТРОФА

В ночной редакции газеты “Известия” ярко горели шары и толстый выпускающий редактор на свинцовом столе верстал вторую полосу с телеграммами “По Союзу Республик”. Одна гранка попалась ему на глаза, он всмотрелся в нее через пенсне и захохотал, созвал вокруг себя корректоров из корректорской и метранпажа и всем показал эту гранку. На узенькой полоске сырой бумаги было напечатано:

”Грачевка, Смоленской губернии. В уезде появилась курица величиною с лошадь и лягается как конь. Вместо хвоста у нее буржуазные дамские перья”.

Наборщики страшно хохотали.

- В мое время, - заговорил выпускающий, хихикая жирно, - когда я работал у Вани Сытина в “Русском Слове”, допивались до слонов. Это верно. А теперь, стало быть, до страусов.

Наборщики хохотали.

- А ведь, верно, страус, - заговорил метранпаж, - что же ставить, Иван Вонифатьевич?

- Да что ты, сдурел, - ответил выпускающий, - я удивляюсь, как секретарь пропустил, - просто пьяная телеграмма.

- Попраздновали, это верно, - согласились наборщики и метранпаж убрал со стола сообщение о страусе.

Поэтому “Известия” и вышли на другой день, содержа, как обыкновенно, массу интересного материала, но без каких бы то ни было намеков на грачевского страуса. Приват-доцент Иванов, аккуратно читающий “Известия”, у себя в кабинете свернул лист, зевнув, молвил: “Ничего интересного”, и стал надевать белый халат. Через некоторое время в кабинетах у него загорелись горелки и заквакали лягушки. В кабинете же профессора Персикова была кутерьма. Испуганный Панкрат стоял и держал руки по швам.

- Понял… слушаю-с, - говорил он.

Персиков запечатанный сургучом пакет вручил ему, говоря:

- Поедешь прямо в отдел животноводства к этому заведующему Птахе и скажешь прямо, что он - свинья. Скажи, что я так, профессор Персиков, так и сказал. И пакет ему отдай.

”Хорошенькое дело”… - подумал бледный Панкрат и убрался с пакетом.

Персиков бушевал.

- Это черт знает, что такое, - скулил он, разгуливая по кабинету и потирая руки в перчатках, - это неслыханное издевательство надо мной и

над зоологией. Эти проклятые куриные яйца везут грудами, а я два месяца не могу добиться необходимого. Словно до Америки далеко! Вечная кутерьма, вечное безобразие, он стал считать по пальцам: ловля… ну, десять дней самое большее, ну, хорошо - пятнадцать… ну, хорошо, двадцать и перелет два дня, из Лондона в Берлин - день… Из Берлина к нам шесть часов… какое-то неописуемое безобразие…

Он яростно набросился на телефон и стал куда-то звонить.

В кабинете у него было все готово для каких-то таинственных и опаснейших опытов, лежала полосами нарезанная бумага для заклейки дверей, лежали водолазные шлемы с отводными трубками и несколько баллонов, блестящих как ртуть, с этикеткою

”Доброхим”, “Не прикасаться”

и рисунком черепа со скелетными костями.

Понадобилось по меньшей мере три часа, чтоб профессор успокоился и приступил к мелким работам. Так он и сделал. В институте он работал до одиннадцати часов вечера, и поэтому ни о чем не знал, что творится за кремовыми стенами. Ни нелепый слух, пролетевший по Москве о каких-то змеях, ни странная выкрикнутая телеграмма в вечерней газете ему остались неизвестны, потому что доцент Иванов был в Художественном театре на “Федоре Иоанновиче”, и, стало быть, сообщить новость профессору было некому.

Персиков около полуночи приехал на Пречистенку и лег спать, почитав еще на ночь в кровати какую-то английскую статью в журнале “Зоологический Вестник”, полученном из Лондона. Он спал, да спала и вся вертящаяся до поздней ночи Москва, и не спал лишь громадный серый корпус на Тверской улице во дворе, где страшно гудели, потрясая все здание, ротационные машины “Известий”. В кабинете выпускающего происходила невероятная кутерьма и путаница. Он совершенно бешеный, с красными глазами метался, не зная что делать, и посылал всех к чертовой матери. Метранпаж ходил за ним и, дыша винным духом, говорил:

- Ну, что же, Иван Вонифатьевич, не беда, пускай завтра утром выпускают экстренное приложение. Не из машины же номер выдирать.

Наборщики не разошлись домой, а ходили стаями, сбивались кучами и читали телеграммы, которые шли теперь всю ночь напролет, через каждые четверть часа, становясь все чудовищнее и страннее. Острая шляпа Альфреда Бронского мелькала в ослепительном розовом свете, заливавшим типографию. И механический толстяк скрипел и ковылял, показываясь то здесь, то там. В подъезде хлопали двери и всю ночь появлялись репортеры. По всем 12 телефонам типографии звонили непрерывно и станция почти механически подавала в ответ на загадочные трубки “занята”, “занято”, и на станции перед бессонными барышнями пели и пели сигнальные рожки…

Наборщики облепили механического толстяка и капитан дальнего плавания говорил им:

- А аэропланы с газом придется посылать.

- Не иначе, - отвечали наборщики, - ведь, это что ж такое. Затем страшная матерная ругань перекатывалась в воздухе и чей-то визгливый голос кричал:

- Этого Персикова расстрелять надо.

- При чем тут Персиков, - отвечали из гущи, - этого сукина сына в совхозе - вот кого надо расстрелять.

- Охрану надо было поставить, - выкрикивал кто-то.

- Да, может, это вовсе и не яйца.

Все здание тряслось и гудело от ротационных колес и создавалось такое впечатление, что серый неприглядный корпус полыхает электрическим пожаром.

Занявшийся день не остановил его. Напротив, только усилил, хоть и электричество погасло. Мотоциклетки одна за другой вкатывались в асфальтовый двор, вперемешку с автомобилями. Вся Москва встала и белые листья газеты одели ее, как птицы. Листья сыпались и шуршали у

всех в руках, и у газетчиков к одиннадцати часам дня не хватало номеров, несмотря на то, что “Известия” выходили в этом месяце с тиражом в полтора миллиона экземпляров. Профессор Персиков выехал с Пречистенки на автобусе и прибыл в институт. Там его ожидала новость. В вестибюле стояли аккуратно обшитые металлическими полосами деревянные ящики, в количестве трех штук, испещренные заграничными наклейками на немецком языке и над ними царствовала одна русская меловая надпись: “Осторожно - яйца”.

Бурная радость овладела профессором.

- Наконец-то, - вскричал он. - Панкрат, взламывай ящики немедленно и осторожно, чтобы не побить. Ко мне в кабинет.

Панкрат немедленно исполнил приказание и через четверть часа в кабинете профессора, усеянном опилками и обрывками бумаги, бушевал его голос.

- Да они что же, издеваются надо мною, что ли, - выл профессор, потрясая кулаками и вертя в руках яйца, - это какая-то скотина, а не Птаха. Я не позволю смеяться надо мной. Это что такое, Панкрат?

- Яйца-с, - отвечал Панкрат горестно.

- Куриные, понимаешь, куриные, черт бы их задрал! На какого дьявола они мне нужны. Пусть посылают их этому негодяю в совхоз!

Персиков бросился в угол к телефону, но не успел позвонить.

- Владимир Ипатьич! Владимир Ипатьич! - загремел в коридоре института голос Иванова.

Персиков оторвался от телефона и Панкрат стрельнул в сторону, давая дорогу приват-доценту. Тот вбежал в кабинет, вопреки своему джентельменскому обычаю, не снимая серой шляпы, сияющей на затылке и с газетным листом в руках.

- Вы извините, Владимир Ипатьич, что случилось, - выкрикивал он и взмахнул перед лицом Персикова листом с надписью: “Экстренное приложение”, посредине которого красовался яркий цветной рисунок.

- Нет, выслушайте, что они сделали, - в ответ закричал, не слушая, Персиков, - они меня вздумали удивить куриными яйцами. Этот Птаха форменный идиот, посмотрите!

Иванов совершенно ошалел. Он в ужасе уставился на вскрытые ящики, потом на лист, затем глаза его почти выпрыгнули с лица.

- Так вот что, - задыхаясь забормотал он, - теперь я понимаю… Нет, Владимир Ипатьич, вы только гляньте, - он мгновенно развернул лист и дрожащими пальцами указал Персикову на цветное изображение. На нем, как страшный пожарный шланг, извивалась оливковая в желтых пятнах змея, в странной смазанной зелени. Она была снята сверху, с легонькой летательной машины, осторожно скользнувшей над землей, - кто это по вашему, Владимир Ипатьич?

Персиков сдвинул очки на лоб, потом передвинул и на глаза, всмотрелся в рисунок и сказал в крайнем удивлении:

- Что за черт. Это… да это анаконда, водяной удав…

Иванов сбросил шляпу, опустился на стул и сказал, выстукивая каждое слово кулаком по столу:

- Владимир Ипатьич, эта анаконда из Смоленской губернии. Что-то чудовищное. Вы понимаете, этот негодяй вывел змей вместо кур и, вы поймите, они дали такую же феноменальную кладку, как лягушки!

- Что такое? - ответил Персиков и лицо его сделалось бурым… - Вы шутите, Петр Степанович… Откуда?

Иванов онемел на мгновение, потом получил дар слова и тыча пальцем в открытый ящик, где сверкали беленькие головки в желтых опилках, сказал:

- Вот откуда.

- Что-о? - завыл Персиков, начиная соображать.

Иванов совершенно уверенно взмахнул двумя сжатыми кулаками и закричал:

- Будьте покойны. Они ваш заказ на змеиные и страусиные яйца переслали в совхоз, а куриные вам по ошибке.

- Боже мой… Боже мой, - повторил Персиков и зеленея лицом, стал садиться на винтящийся табурет.

Панкрат совершенно одурел у двери, побледнел и онемел. Иванов вскочил, схватил лист и, подчеркивая острым ногтем строчку, закричал в уши профессору:

- Ну теперь они будут иметь веселую историю!.. Что теперь будет. Я решительно не представляю. Владимир Ипатьич, вы гляньте, - и он завопил вслух, вычитывая первое попавшееся место со скомканного листа. - Змеи идут стаями в направлении Можайска… откладывая неимоверное количество яиц. Яйца были замечены в Духовском уезде… Появились крокодилы и страусы. Части особого назначения… и отряды государственного управления прекратили панику в Вязьме после того, как зажгли пригородный лес, остановивший движение гадов…

Персиков разноцветный, иссиня-бледный, с сумасшедшими глазами поднялся с табурета и, задыхаясь, начал кричать:

- Анаконда… анаконда… водяной удав! Боже мой! - В таком состоянии его еще никогда не видали ни Иванов, ни Панкрат.

Профессор сорвал одним взмахом галстук, оборвал пуговицы на сорочке, побагровел страшным параличным цветом и, шатаясь совершенно тупыми стеклянными глазами, ринулся куда-то вон. Вопль разлетался под каменными сводами института.

- Анаконда… анаконда, - загремело эхо.

- Лови профессора! - взвизгнул Иванов Панкрату, заплясавшему от ужаса на месте. - Воды ему… у него удар.

11. БОЙ И СМЕРТЬ

Пылала бешеная электрическая ночь в Москве. Горели все огни и в квартирах не было места, где бы не сияли лампы, со сброшенными абажурами. Ни в одной квартире Москвы, насчитывающей 4 миллиона населения не спал ни один человек, кроме неосмысленных детей. В квартирах ели и пили как попало. В квартирах что-то выкрикивали и поминутно искаженные лица выглядывали в окна во всех этажах, устремляя взор в небо, во всех направлениях изрезанного прожекторами. На небе то и дело вспыхивали белые огни, отбрасывая летающие белые конусы на Москву и исчезая гасли. В особенности страшно было на Тверской-Ямской. На Александровский вокзал каждые десять минут приходили поезда, сбитые как попало из товарных и разноклассных вагонов и даже цистерн, облепленных обезумевшими людьми, и по Тверской-Ямской бежали густой кашей, ехали в автобусах, ехали на крышах трамваев, давили друг друга и попадали под колеса. На вокзале то и дело вспыхивала трескучая тревожная стрельба поверх толпы - это воинские части останавливали панику сумасшедших, бегущих по стрелкам железных дорог из Смоленской губернии в Москву. На вокзале то и дело с бешеным легким всхлипыванием вылетали стекла в окнах, выли все паровозы. Все улицы были усеяны плакатами, брошенными и растоптанными, и эти же плакаты под жгучими малиновыми рефлекторами глядели со стен. Они всем уже были известны и никто их не читал. В них Москва объявлялась на военном положении. В них грозили за панику и сообщили, что в Смоленскую губернию часть за частью уже едут отряды Красной Армии, вооруженные газами. Но плакаты не могли остановить воющей ночи. В квартирах роняли и били посуду и цветочные вазоны, бегали, задевали за углы, разматывали и сматывали какие-то узлы и чемоданы, в тщетной надежде пробраться на Каланчевскую площадь, на Ярославский или Николаевский вокзал. Увы, все вокзалы, ведущие на север и на восток были оцеплены густейшим слоем пехоты, и громадные грузовики колыша и бренча цепями, до верху нагруженные ящиками, поверх которых сидели армейцы в остроконечных шлемах, ощетинившиеся во все стороны штыками, увозили запасы золотых монет из подвалов народного комиссариата финансов и громадные ящики с надписью:

”Осторожно. Третьяковская галерея”.

Машины рявкали и бегали по всей Москве.

Очень далеко на небе дрожал отсвет пожара и слышались, колыша густую черноту августа, беспрерывные удары пушек.

Под утро, по совершенно бессонной Москве, не потушившей ни одного огня, вверх по Тверской, сметая все встречное, что жалось в подъезды и витрины, выдавливая стекла, прошла многотысячная, стрекочащая копытами по торцам, змея конной армии. Малиновые башлыки мотались концами на серых спинах и кончики пик кололи небо. Толпа, мечущаяся и воюющая, как будто ожила сразу, увидав ломящихся вперед, рассекающая расплеснутое варево безумия, шеренги. В толпе над тротуаром начало призывно, с надеждою, выть.

- Да здравствует конная армия! - кричали исступленные женские голоса.

- Да здравствует! - отзывались мужчины.

- Задавят!! давят!.. - выли где-то.

- Помогите! - кричали с тротуара.

Коробки папирос, серебряные деньги, часы полетели в шеренги с тротуара, какие-то женщины выскакивали на мостовую и, рискуя костями, плелись с боков конского строя, цеплялись за стремена и целуя их. В беспрерывном стрекоте копыт изредка взмывали голоса взводных:

- Короче повод.

Где-то пели весело и разухабисто. Из коней смотрели в зыбком рекламном свете лица в заломленных малиновых шапках. То и дело, прерывая шеренги конных с открытыми лицами, шли на конях же странные фигуры, в странных чадрах, с отводными за спину трубками и баллонами на ремнях за спиной. За ними ползли громадные цистерны, автомобили, с длиннейшими рукавами и шлангами, точно на пожарных повозках и тяжелые, раздавливающие торцы, наглухо закрытые и светящиеся узенькими бойницами танки на гусеничных лапах. Прерывались шеренги конных и шли автомобили, зашитые наглухо с серую броню, с теми же трубками, торчащими наружу, и белыми нарисованными черепами на боках с надписью “Газ. Доброхим”.

- Выручайте, братцы, - завывали с тротуаров, - бейте гадов… Спасайте Москву!

- Мать… мать… - перекатывалось по рядам. Папиросы пачками прыгали в освещенном ночном воздухе и белые зубы скалились на ошалевших людей с коней. По рядам разливалось глухое и щиплющее сердце пение:

…Ни туз, ни дама, ни валет,

Побьем мы гадов без сомненья,

Четыре с боку - ваших нет…

Гудящие раскаты “ура” выплывали над всей этой кашей, потому, что пронесся слух, что впереди шеренг на лошади, в таком же малиновом башлыке, как и все всадники, едет ставший легендарным десять лет назад, постаревший и поседевший командир конной громады. Толпа завывала и в небо улетал, немного успокаивая метущиеся сердца, гул “ура… ура…”.

Институт был скупо освещен. События в него долетали только отдельными, смутными и глухими отзвуками. Раз под огненными часами близ Манежа грохнул веером залп, это расстреляли на месте мародеров, пытавшихся ограбить квартиру на Волхонке. Машинного движения на улице здесь было мало, оно все сбивалось к вокзалам. В кабинете профессора, где тускло горела одна лампа, отбрасывая пучок на стол, Персиков сидел, положив голову на руки и молчал. Слоистый дым веял вокруг него. Луч в ящике погас. В террариях лягушки молчали, потому что уже спали. Профессор не работал и не читал. В стороне, под левым его локтем, лежал вечерний выпуск телеграмм на узкой полосе, сообщавший, что Смоленск горит весь и что артиллерия обстреливает Можайский лес по квадратам, громя залежи крокодильих яиц, разложенных во всех сырых оврагах. Сообщалось, что эскадрилья аэропланов под Вязьмою действовала весьма удачно, залив газом почти весь уезд, но что жертвы человеческие в этих пространствах неисчислимы из-за того, что население, вместо того,

чтобы покидать уезды в порядке правильной эвакуации, благодаря панике, металось разрозненными группами на свой страх и риск, кидаясь куда глаза глядят. Сообщалось, что отдельная кавказская кавалерийская дивизия в Можайском направлении блистательно выиграла бой со страусовыми стаями, перерубив их всех и уничтожив громадные кладки страусовых яиц. При этом дивизия понесла незначительные потери. Сообщалось от правительства, что в случае, если гадов не удастся удержать в 200-верстной зоне от столицы, она будет эвакуирована в полном порядке. Служащие и рабочие должны соблюдать полное спокойствие. Правительство примет самые жестокие меры к тому, чтобы не допустить Смоленской истории, в результате которой, благодаря смятению, вызванному неожиданным нападением гремучих змей, появившихся в количестве нескольких тысяч, город загорелся во всех местах, где бросили горящие печи и начали безнадежный повальный исход. Сообщалось, что продовольствием Москва обеспечена по меньшей мере на полгода и что совет при главнокомандующем принимает срочные меры к бронировке квартир для того, чтобы вести бои с гадами на самых улицах столицы, в случае, если красным армиям и аэропланам и эскадрильям не удастся удержать нашествие пресмыкающихся.

Ничего этого профессор не читал, смотрел остекленевшими глазами перед собой и курил. Кроме него только два человека были в институте - Панкрат и, - то и дело заливающаяся слезами, экономка Марья Степановна, бессонная уже третью ночь, которую она проводила в кабинете профессора, ни за что не желающего покинуть свой единственный оставшийся потухший ящик. Теперь Марья Степановна приютилась на клеенчатом диване, в тени в углу и молчала в скорбной думе, глядя, как чайник с чаем, предназначенным для профессора, закипал на треножнике газовой горелки. Институт молчал, и все произошло внезапно.

С тротуара вдруг послышались ненавистные звонкие крики, так что Марья Степановна вскочила и взвизгнула. На улице замелькали огни фонарей и отозвался голос Панкрата в вестибюле. Профессор плохо воспринял этот шум. Он поднял на мгновение голову, пробормотал: “ишь как беснуются… что ж я теперь поделаю”. И вновь впал в оцепенение. Но оно было нарушено. Страшно загремели кованные двери института, выходящие на Герцена, и все стены затряслись. Затем лопнул сплошной зеркальный слой в соседнем кабинете. Зазвенело и высыпалось стекло в кабинете профессора и серый булыжник прыгнул в окно, развалил

стеклянный стол. Лягушки шарахнулись в террариях и подняли вопль. Заметалась, завизжала Марья Степановна, бросилась к профессору, хватая его за руки и крича: - Убегайте, Владимир Ипатьич, убегайте. - Тот поднялся с винтящегося стула, выпрямился и, сложив палец крючком, ответил, причем глаза его на миг приобрели прежний остренький блеск, напоминавший прежнего вдохновенного Персикова.

- Никуда я не пойду, - проговорил он, - это просто глупость, они мечутся, как сумасшедшие… Ну а если вся Москва сошла с ума, то куда же я уйду. И, пожалуйста, перестаньте кричать. Причем здесь я. Панкрат! - Позвал он и нажал кнопку.

Вероятно он хотел, чтоб Панкрат прекратил всю суету, которой он вообще никогда не любил. Но Панкрат ничего уже не мог поделать. Грохот кончился тем, что двери института растворились и издалека донеслись хлопушечки выстрелов, а потом весь каменный институт заполнился бегом, выкриками, боем стекол. Марья Степановна вцепилась в рукав Персикова и начала его тащить куда-то, но он отбился от нее, вытянулся во весь рост и, как был в белом халате, вышел в коридор.

- Ну? - спросил он. Двери распахнулись, и первое, что появилось в дверях, это спина военного с малиновым шевроном и звездой на левом рукаве. Он отступал из двери, в которую напирала яростная толпа, спиной и стрелял из револьвера. Потом он бросился бежать мимо Персикова крикнув ему:

- Профессор, спасайтесь, я больше ничего не могу сделать.

Его словам ответил визг Марьи Степановны. Военный проскочил мимо Персикова, стоящего как белое изваяние, и исчез во тьме извилистых коридоров в противоположном конце. Люди вылетели из дверей завывая:

- Бей его! Убивай…

- Мирового злодея!

- Ты распустил гадов!

Искаженные лица, разорванные платья запрыгали в коридорах и кто-то выстрелил. Замелькали палки. Персиков немного отступил назад, прикрыл

дверь, ведущую в кабинет, где в ужасе, на полу на коленях стояла Марья Степановна, распростер руки, как распятый, он не хотел пустить толпу и закричал в раздражении:

- Это форменное сумасшествие… вы совершенно дикие звери. Что вам нужно? - Завыл: - Вон отсюда! - и закончил фразу резким, всем знакомым выкриком: - Панкрат, гони их вон.

Но Панкрат никого уже не мог выгнать. Панкрат с разбитой головой, истоптанный и рваный в клочья лежал недвижимо в вестибюле и новые и новые толпы рвались мимо него, не обращая внимания на стрельбу милиции с улицы.

Низкий человек, на обезьяньих кривых ногах, в разорванном пиджаке, в разорванной манишке, сбившейся на сторону, опередил других, дорвался до Персикова и страшным ударом палки раскроил ему голову. Персиков качнулся, стал падать на бок и последним его словом было:

- Панкрат… Панкрат…

Ни в чем не повинную Марью Степановну убили и растерзали в кабинете, камеру, где потух луч, разнесли в клочья, в клочья разнесли террарии, перебив и истоптав обезумевших лягушек, раздробили стеклянные столы, раздробили рефлекторы, а через час институт пылал, возле него валялись трупы, оцепленные шеренгою вооруженных электрическими револьверами, и пожарные автомобили, насасывая воду из кранов, лили струи во все окна, из которых, гудя, длинно выбивалось пламя.

12. МОРОЗНЫЙ БОГ НА МАШИНЕ

В ночь с 19-го на 20-е августа 1928 года упал неслыханный, никем из старожилов никогда еще не отмеченный, мороз. Он пришел и продержался двое суток, достигнув 18 градусов. Остервеневшая Москва заперла все окна, все двери. Только к концу третьих суток поняло население, что мороз спас столицу и те безграничные пространства, которыми она владела и на

которые упала страшная беда 28-го года. Конная армия под Можайском, потерявшая три четверти своего состава, начала изнемогать и газовые эскадрильи не могли остановить движения мерзких пресмыкающихся, полукольцом заходивших с запада, юго-запада и юга по направлению к Москве.

Их задушил мороз. Двое суток по 18 градусов не выдержали омерзительные стаи и в 20-х числах августа, когда мороз исчез, оставив лишь сырость и мокроту, оставив влагу в воздухе, оставив побитую нежданным холодом зелень на деревьях, биться больше было не с кем. Беда кончилась. Леса, поля, необозримые болота были еще завалены разноцветными яйцами, покрытыми порою странным, нездешним рисунком, который безвестно пропавший Рокк принимал за грязюку, но эти яйца были совершенно безвредны. Они были мертвы, зародыши в них были прикончены.

Необозримые пространства земли еще долго гнили от бесчисленных трупов крокодилов и змей, вызванных к жизни таинственным, родившимся на улице Герцена в гениальных глазах лучом, но они уже не были опасны, непрочные созданья гнилостных жарких тропических болот погибли в два дня, оставив на пространстве трех губерний страшное зловоние, разложение и гной.

Были долгие эпидемии, были долго повальные болезни от трупов гадов и людей, и долго еще ходила армия, но уже снабженная не газами, а саперными принадлежностями, керосиновыми цистернами и шлангами, очищая землю. Очистила и все кончилось к весне 29-го года.

А весною 29-го года опять затанцевала, загорелась и завертелась огнями Москва, и опять по-прежнему шаркало движение механических экипажей, и над шапкою храма Христа висел, как на ниточке, лунный серп, и на месте сгоревшего в августе 28 года двухэтажного института выстроили новый зоологический дворец и им заведовал приват-доцент Иванов, но Персикова уже не было. Никогда не возникал перед глазами людей скорченный убедительный крючок из пальца и никто больше не слышал скрипучего квакающего голоса. О луче и катастрофе 28 года еще долго говорил и писал весь мир, но потом имя профессора Владимира Ипатьевича Персикова оделось туманом и погасло, как погас и самый открытый им в апрельскую ночь красный луч. Луч же этот вновь получить не удалось,

хоть иногда изящный джентльмен, и ныне ординарный профессор Петр Степанович Иванов и пытался. Первую камеру уничтожила разъяренная толпа в ночь убийства Персикова. Три камеры сгорели в Никольском совхозе “Красный Луч” при первом бое эскадрильи с гадами, а восстановить их не удалось. Как ни просто было сочетание стекол с зеркальными пучками света, его не скомбинировали во второй раз, несмотря на старания Иванова. Очевидно, для этого нужно было что-то особенное, кроме знания, чем обладал в мире только один человек - покойный профессор Владимир Ипатьевич Персиков.